ISSN 0131—0097

ОГОНЁК

№ 11 МАРТ 1990



ПАСПОРТ + ДЕНЬГИ = ТОВАР?

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Учрежден 1 апреля 1923 года

№ 11 (3269)

ИЗДАТЕЛЬ — ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС «ПРАВДА»

10 — 17 марта

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Власть талонов или власть товаров? (См. в номере материал «ЯШКИН-СТРИТ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ?»)
Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА
НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Фото Нины СВИРИДОВОЙ и Дмитрия ВОЗДВИЖЕНСКОГО.

Оформление Е. М. КАЗАКОВА
при участии О. И. КОЗАК

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 19.02.90. Подписано к печати 05.03.90. А 09415. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 4 600 000 экз. Заказ № 1944. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Внутренней политики и оперативного анализа — 212-15-39; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

SALAMANDER City

Chic, elegant
und angenehm zu tragen.

«ЯШКИН-СТРИТ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ?



Вторая московская Международная выставка потребительских товаров «Консумэкспо» подводит итоги. Дипломы и призы конкурса журнала «Огонек» вручены за лучшие товары. Появятся ли они на наших прилавках?

Константин БАРЫКИН

На «Консумэкспо» шалеешь не от изысканности — она и у нас встречается в домах моделей, в швейных спецателье без вывесок, в дизайнерских мастерских. Пошатывает от обилия, от выбора. На стендах — мини-машины с программами на случай любой постирушки. Холодильник «четыре времени года», духи «Пуазон», «Грундики», «Сименсы», «Сони», «Хенкели» («клеи различного рода. Средства для ухода за автомобилями»), «Тхоместо» (домашние сауны удачной конструкции), «Коспо» («одежда для чистых комнат»)... Всего — пруд пруди. Конечно, это немножко раздражает. А предложение шведской фирмы — «машины для резки ветчины и колбасы» — и вовсе воспринимаешь как выпад. Опомнитесь, господа! Или вы в наши гастрономы не вхожи?.. Чтобы обрести спокойствие и рассудительность, надо остановиться и посмотреть вокруг. И тогда замечаешь, что неподалеку от прославленных фирм, чуть в стороне от них, расположились пока незнакомые купцы. Они привезли сковороды и дверные ручки, тушь для ресниц и кожаные кошельки, видеоигры и канделябры, платки «полушерстяные, с мерцающим эффектом, с бахромой, с матенитом, с пластилексом» (не спрашивайте меня, что это такое, я не знаю).

И еще товары 1001 названия.

Красиво и нешуточно угощала нездешней едой датская фирма «К. Янн». Солидно проблескивали безотказные деловые перья «Пеликан». Пытался привлечь внимание стендик «Кореска» с дешевенькими карандашиками. Бесшумно замыкали бесшумные двери надежные замки «аблой». Туфли «Саламандер» — до чего же хороши! Несессеры, кошельки, портмоне — от «Нины Риччи». Электронные часы: поговаривают, что «там» их продают дюжинами. Зачем, однако, мне дюжина часов? Модницы останавливались перед витринками с бижутерией. Но изделий «Яблонекса» я не видел. Страны Восточной Европы на выставке вообще очень скупо были представлены. Я понимаю, сейчас им не до ярмарок. Или, может, не до московской «Консумэкспо»? Если так — обидно, очень обидно... Думаю, однако, что жизнь все поправит, поставит на свои места.

Хорошо были представлены наши

предприятия, особенно оборонные; заводы и фабрики Свердловска, Ленинграда, Риги. Стенды с кисловодским фарфором стали сенсацией. Кисловодский фарфор уже поставляется весьма престижным западным магазинам. Московская торговля тоже вроде бы покупает его, на полтора миллиона в год, но эти немногие вещи и вещицы распыливаются по разным «торговым точкам». Парфюмерия «Дзинтарса» весьма успешно конкурировала с испанскими и французскими предложениями — что есть, то есть.

Ярмарка...

Мир завален товаром. (По паспортам торгуют только у нас.) Потребности западных рынков перекрыты дважды и трижды, это я остро ощутил на «Консумэкспо». И лишь появится лазейка, как в нее устремляются коммивояжеры. Едут, даже не имея гарантий на успех. Пробуют наш рынок, присматриваются к нему. Рискуют. Конечно, каждый старался продать товар подороже. Но на обильном торжище и поторговаться не грех. Но торговаться-то мы и не умеем. Предприятия, у которых появилась валюта, покупать толком не научились. Для многих из них существует некий абсолют: побольше — подешевле. На «Консумэкспо» было много высококлассных, первого ряда товаров. Но представители заводов и фабрик шли не к «Нине Риччи», не к «Сименсу», не за туфлями «Саламандер», не к «Лего»; устремлялись туда, где товар попроще.

Что за зверь такой «Лего»? Вы о нем не знаете? «Лего» — классика в мире игрушек. Как, скажем, «мерседес» среди автомобилей. Фирма явно заинтересована в поставках нам и не скрывает этого. Еще на «Консумэкспо-89» я беседовал с первым ее вице-президентом Вернером Нётцли. «Мы хотим установить коммерческие контакты,— говорил он.— мы готовы к различным формам сотрудничества...»

За год мало что изменилось, наши ребятишки по-прежнему не знают игр «Лего», а ими между тем играют в ста двадцати странах. Лишь развивающиеся страны не покупают игры «Лего»: недешевый товар это. Я видел магазины «Лего» в Праге, в Будапеште. «Лего» — возможность ребячьего самовыражения, выход для бурной или скромной фантазии, выработка навыков и умений. Ни одной пушки или танка, ни одной ракетной установки. Дома, сады и ресторанчики (есть и такой конструктор — «ресторан»!), компьютеры и телефоны, автомобильчики и всякая всячина — из «кирпичиков» «Лего» можно собрать тысячи конструкций! Робкие переговоры с «Лего» начала торговая фирма «Детский мир». Отчего бы не закупить такие игры для детских садов тем предприятиям, у которых есть валюта? Почему не открыть магазин «Лего»? Фирменный. Минторг вроде бы разворачивается в сторону «Лего», но пока не отреагировал на сделанное в прошлом году «Огоньком» предложение о подобном магазине... Понимаем, валюты мало, и могут сказать: «Игрушечки? Подождем!» И еще об одном подумал: детям разных стран, если они играют в одни — хорошие — игры, будет легче, проще понять друг друга.

Предсовмина страны, выступая в прошлом году перед народными депутатами, дал такой расклад: более 5 миллиардов валютных рублей тратим на закупку зерна и продовольствия, почти 2,5 миллиарда — на приобретение машин и новых технологий, 2,6 миллиарда — на химические материалы, а полтора миллиарда — на сырье для легкой промышленности. Специальные трубы и металлопрокат обходятся еще в 2 миллиарда. Не нашел я в этом перечне ни одежды, ни обуви, ни мебели. Из давней статистической сводки узнал, что на прокатное оборудование мы тратим 53,9 процента денег, много — на оборудование для химической промышленности, а, скажем, на хлопчатобумажные ткани — 2,8, на кожаную обувь — 8,3 процента. Таков расклад.

Еще одна беда: покупаем товары не первого класса, норовим сэкономить, чтобы на доллар купить не штуку, а две. Или полторы. Что берем?.. На второй день работы «Консумэкспо» я понял, что представленное тут иными фирмами вовсе не «от кутюр», а со склада, лежалый товарец. Костюм, бывший в моде году в восьмидесятом, но тогда не проданный. Сапожки не первой стати. Шали с проблесками. «Стендист», он же директор фирмы с длинным, не запомнившимся мне названием, обворожительно улыбается и мягко пожимает руку. Мы улыбчиво беседуем (фирмач неплохо говорит по-русски: «Наши товары покупают советские моряки и туристы»). Я узнаю, что он привез «красивую обувь». Из искусственных материалов. «Не отличить от натуральной!» Я соглашаюсь — не отличить. Но все же спрашиваю: «Ваша жена и дочь ходят в таких?» Приличное знание языка начинает сбоить, переводчика рядом нет; мы после некоторой заминки переходим на другую тему. «Когда у дамы мало денег, но хочется пойти в театр в элегантной обуви, дама делает покупку у нас»,— объясняет мне коммерсант. Но нашито дамы будут в таких туфельках щеголять не час-второй, а от зари до зари.

...В некоторых странах есть улицы, где открыты магазины дешевых товаров. Такие, как «Тати», или лавки нью-йоркской бедноты, в русском командировочном просторечии именующиеся «Яшкин-стрит». Не случилось ли так, что и владельцы именно таких магазинчиков, закрыв свои «точки», написав на дверях «ушел на базу», махнули в Москву, на «Консумэкспо»? А отчего не поехать, коль покупатель есть? Представители весьма солидного приборостроительного завода были очень довольны, когда заключили сделку на поставку косметики. Искренний коммерческий директор предприятия так и сказал: порадуем наших женщин-тружениц к празднику 8 Марта! И доверительно наклонившись ко мне: «Представляете, за полцены...» Невдомек директору, что заплатил он с походом, а если эту косметику сравнить с продукцией фирм «Нина Риччи», «Кристиан Диор» или нашего «Дзинтарса», то произойдет конфуз.

На мировом рынке ежегодно продается-покупается продукции высшего качества примерно на 500 миллиардов долларов. Доля нашей страны в этом обороте — около трех процентов (а, скажем для наглядности, доля США и ФРГ доходит до 20 процентов). Цифры не сегодняшние, но, полагаю, если что и изменилось, то не в нашу пользу. Было, пусть давно, купили костюмы, а они расползлись по швам. К фирме — с претензиями! Извините, господа, высокомерно и назидательно ответили там, вы приобрели костюмы для погребения усопших. С того света жалоб не поступало. Вы — первые...

Прошло несколько лет, и чья-то нелегкая рука дала добро на дубленки, которые в химчистку не берут. Они, дубленки, от чистки меняют цвет, а то и уменьшаются в размере. Сшиты из шагреневой кожи?.. Пора задуматься: что у кого покупаем? Прежде сделки заключало только внешнеторговое ведомство. Но его люди отстранены от нашего покупателя огромной дистанцией. Сейчас большую часть работы поручили Министерству торговли страны, положение меняется к лучшему, но привычки и старые связи сами по себе не отпадут.

Разве мы так богаты, чтобы покупать плохие вещи? В экономике бесплатных пирожных не бывает. Скупой платит дважды. И расчетливый знает это. Дело не только в появлении вируса «обноски — впору», но и в потере ориентиров. Мы вырабатываем психологию нищенства. Унижение паче гордости? Поговорка или философия жизни? Представления об импорте у нас искажены, развернуты в сторону от экономики. «Мейд ин...»? Этикетка есть? Давай сюда! Только в последние два-три года стали поразборчивее, но именно на это время выпал особый валютный недобор, в действие вступил «объективный» фактор: надо, хотим или не хотим, покупать дешевое. А денег выручить побольше. И коэффициент 1:10 уже не потолок. Продававшийся два-три года назад за 200 рублей костюм стоит сейчас дороже. Импорт — затыкатель бюджетных дыр и брешей? Он призван не одеть-обуть, а дать казне доходы? Породив «импортную чуму» (определение экономиста М. Гельванского), создав фетиш импорта, мы ослабили требовательность и к нашим предприятиям. Оскорбительно высокие цены импорта не могли не повлиять и на цены, устанавливаемые нашей промышленностью на свою продукцию.

Мы покупаем за рубежом более пятой части всей нашей одежды и белья, более 30 процентов — обуви. Из госкомстатовской сводки узнаю, что запасы неходовых и непроданных товаров не убывают. Кожаной обуви лежит (при нашем-то обувном голоде!) более чем на 133 миллиона рублей. Галантерейных изделий — почти на 109 миллионов. Радиотоваров — более чем на 26 миллионов. Осведомлен: доля импорта в этих залежах тоже есть.

И пора, пора сообщать не только общие суммы заграничных закупок, но и цены; что почем и сколько стоит — у нас и у них. Коммерческая тайна? Мы объелись секретами. Почему же скрывать такие данные от тех, на чьи деньги покупается товар? В изданной в 1901 году «Коммерческой энциклопедии» я вычитал: «В привозе вещей спрос зависит от прихотей, предрассудков и склонностей... вследствие чего нет оснований мириться с таким привозом».

Тогда не мирились. А сейчас?

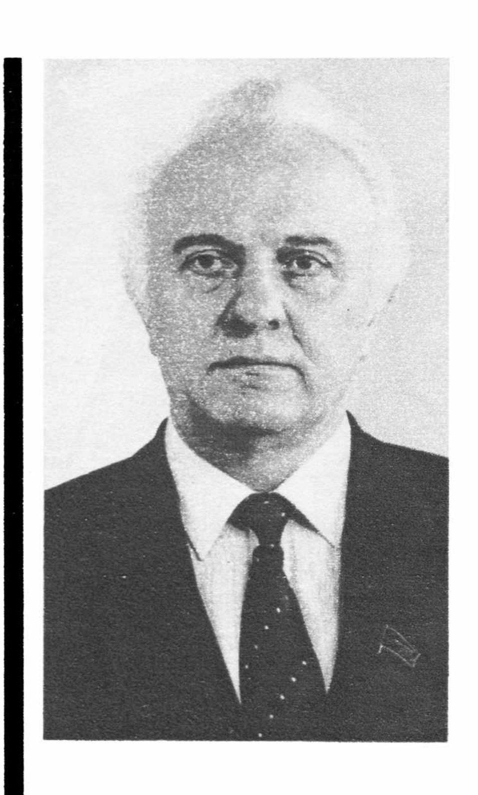
Мешает нормальным сделкам и то, что выставки «Консумэкспо» носят чуть ли не закрытый, служебный характер. И действия наших закупщиков не контролируются «простыми людьми». Закупки делают вроде для меня, но без моего контроля, без моей доверенности. Те несколько тысяч человек, что проникли на выставку в последние часы ее работы, сути не изменили. Нужен принципиально новый подход в организации международной выставки потребительских товаров. У нас тут практика очень мала: «Консумэкспо» проводилась всего второй раз. Но есть огромный мировой опыт.

Вручение призов и дипломов прошло деловито и сердечно. Главный редактор «Огонька» и генеральный директор «Союзрекламы», представители заводов, фабрик и магазинов, приготовивших призы, вручили их. «Кристиан Диор» — приз ГУМа. Фирме «ВИК-электро» — от производственно-творческого экспериментального объединения «Русский сувенир». «Мулинексу» — еще один приз ГУМа. «Лего» — от «Детского мира». «Тхоместо» — фарфоровую вазу кисловодской фабрики. «Хенкелю» — специальный диплом каунасского универмага «Меркуриюс».

«Консумэкспо» — усилиями Минторга СССР и «Экспоцентра» — будет проходить и в 1991-м, тоже в январе; видимо, здесь же, на Красной Пресне. Выставка становится традиционной.

Встретимся. Подведем итоги. У сегодняшних призеров, если, конечно, они приедут, поинтересуемся: удалось ли за год установить деловые контакты с нашими фирмами, организациями, с магазинами? Ведь и магазинам пора приобретать внешнеторговую самостоятельность. Понимаю, это может не понравиться «Мосгорторгу», который сейчас распоряжается даже крупными столичными универмагами. Но такая организация дела нужного результата не дала. Значит, нужно менять ее, а то и вовсе отказаться.

«Консумэкспо» показала не только товары. Она подсказала пути, по которым они могут попасть на прилавки наших магазинов.



Интервью члена Политбюро ЦК КПСС, министра иностранных дел СССР Эдуарда Амвросиевича ШЕВАРДНАДЗЕ журналу «Огонек».

— Не знаю, согласитесь ли вы со мной, Эдуард Амвросиевич, но мне кажется, что сейчас, как никогда ранее, иностранные дела нашего государства связаны с положением внутри страны. Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы наша беседа шла именно под таким углом зрения — взаимовлияние внутренних и внешних дел страны.

— Я соглашусь, пожалуй, только с тем, что сегодня мы эту связь осознаем острее. Однако сомневаюсь, что оправданно говорить «как никогда ранее». У нашей страны трудная история, в ней и ранее случались моменты, когда у советской внешней политики, по существу, не было возможности свободно выбирать тот или иной образ действий, ибо тяжелое внутреннее положение не позволяло такой роскоши.

Сама же тема взаимосвязи внешних и внутренних факторов в жизни государства очень интересна, и я буду рад обсудить ее.

— Уверен, вас уже спрашивали об этом, тем не менее я все-таки задам свой вопрос. Когда в июле 1985 года на пост министра иностранных дел СССР был назначен человек, никогда ранее не работавший в сфере международных отношений, это решение удивило многих. Сейчас удивление прошло, результаты работы возглавляемого вами ведомства хорошо видны всем, но многих наших читателей интересует: почему вы тогда согласились занять этот пост? Было ли это предложение и для вас самого неожиданным или все-таки раньше внутренне вы проигрывали такой вариант: «Если бы министром иностранных дел был я, то...»?

УБЕЖДАТЬ ПРАВДОЙ

Рассказывают, что при первом знакомстве с аппаратом МИДа вы сравнили своего предшественника с крейсером дипломатии, а себя — с простой лодкой... но с мотором. Продолжая эту метафорическую аналогию, хочу спросить: был ли в то время у «лодки» четко обозначенный курс или он появился уже во время движения?

— Иностранные дела постоянно находятся в поле зрения всякого нормального человека, так как они во многом касаются и его жизни. Люди, как правило, имеют стойкие суждения по вопросам внешней политики. В свое время это очень тонко подметили такие знатоки человеческой психологии, как Ильф и Петров. Так что, поверьте мне, недостатка в «домашних» министрах иностранных дел никогда не было и не будет. Что же касается моего личного опыта в этой области деятельности, то и как руководитель республики, и как кандидат в члены Политбюро я был достаточно информирован о внешнеполитических делах страны, естественно, имел о них собственное представление, связывал их с нашим внутренним положением. Мне казалось, что на периферии эта связь видится четче и имеет вполне реальные измерения.

В Москве, наверное, не так остро ощущалось, что конфронтация с остальным миром разорительна для страны. Для моей республики она оборачивалась отставанием в социально-экономическом развитии, вечной нехваткой средств, ресурсов. На периферии общество болезненнее и сильнее реагировало и на афганскую войну, могилы погибших там были, я бы сказал, много заметнее еще в те времена, когда об этом молчали.

Мы были связаны по рукам и ногам засильем центральных ведомств, чья — назову вещи своими именами — имперская философия не брала в расчет коренные интересы республик. Желая разорвать порочный круг, мы на местах пытались экспериментировать с различными формами хозяйствования, но нас грубо осаживали идеологическими вожжами. Но тем не менее и в тех условиях в республике было сделано немало такого, что даже на фоне сегодняшних наших представлений выглядит масштабным, многообразным, многообещающим, а главное — практически и теоретически полностью оправдавшим себя.

Как историк и уроженец весьма политизированного края, я знал, что некогда совершенное насилие возвращается бумерангом: народ не смирится с тем, что навязано силой, он все помнит и рано или поздно, преодолев страх, скажет свое слово. Не надо было быть большим специалистом, чтобы видеть, что все эти и подобные (примеров у меня уйма) искривления подрывают безопасность страны и лишают ее позитивной перспективы. Я принял перестройку, ее философию, внешние и внутренние цели. Принял, скажу откровенно, как последний шанс своей жизни. Не скрою, предложение занять пост министра иностранных дел было и для меня совершенно неожиданным, и принял я его не сразу. Приводил различные аргументы против назначения — они были отведены. Надеюсь, Михаил Сергеевич Горбачев не посетует, если я обнародую одну деталь той нашей беседы. Полагая, что министром иностранных дел такой страны, как наша, должен быть человек российских корней, я бросил на чашу весов последний, как мне думалось, аргумент:

— Но я ведь нерусский...

— Ты — советский,— был ответ, и я не мог не принять его.

Что же до «лодки с мотором», то этим я хотел сказать своим будущим коллегам, что у меня есть уверенность, что смогу одолеть путь в профессиональную дипломатию. А курс, точнее — понимание, куда следовало идти, у «лодки» был, и я счастлив, что он совпал с внешнеполитическими установками высшего руководства страны.

— Как влияли события в нашей стране на поиск новых путей во взаимоотношениях с другими государствами? Какие наши внутренние дела подталкивали к тем или иным шагам на международной арене?

— Выбор в пользу обновления, демократии внутри страны предопределил приоритет общечеловеческих ценностей во внешней политике. Изменения в жизни нашего общества создали иной облик Советского Союза за рубежом, создали предпосылки и условия для новых отношений с остальным миром. Здесь — главная область взаимосвязи внутренней и внешней политики.

Что, например, «подтолкнуло» нас на уход из Афганистана? По большому, как говорится, счету — убеждение в неоправданности нашего вмешательства в афганские события, в несправедности разгоревшейся войны, в неприятии ее народом. Идея народовластия, которая начала воплощаться в жизнь, сделала невозможным продолжение военной вовлеченности в дела Афганистана.

Гласность открыла путь к признанию и принятию на Стокгольмской конференции принципа инспекции на месте. Плюрализм мнений и отказ от концепции противоборства привел к деидеологизации межгосударственных отношений. Процесс демократизации внутри страны кардинально изменил наш подход к правам человека. Взгляд на мир как на единое взаимосвязанное целое вывел нас на постановку вопроса об интеграции нашей страны в мировую хозяйственную систему. Этот ряд можно было продолжить.

— Вы часто с гордостью — законной притом — говорите, что внешняя политика страны времен перестройки способствовала устранению «образа врага». За рубежом нас уже не воспринимают как врага, аналогично и мы относимся к другим странам. Однако некоторые склонны считать, что существование внешней угрозы в известной степени являлось сплачивающим и мобилизующим началом внутри страны. Стоило противостоянию на мировой арене пойти на убыль, стоило в капиталистическом окружении устранить «образ врага», как все эти положительные внешнеполитические сдвиги обернулись дестабилизирующим фактором для внутренних дел страны.

— Категорически с этим не согласен. Такое мнение — вполне допускаю, что оно есть,— основано на какой-то дьявольски извращенной логике. Государство, держащееся на допинге «образа врага», не имеет, на мой взгляд, права на существование. Насколько я знаю историю, именно милитаризация общества, мышления, образа жизни народа, другими словами, параноидальная озабоченность своей безопасностью подрывала стабильность целых цивилизаций, вела их к гибели. Возможно, чьи-то личные судьбы пострадали оттого, что теперь у нас более не воспринимаются запугивания всяческими напастями из-за рубежа, но страна от этого стала выше, чище, цивилизованнее. И не дай нам бог снова вернуться к выискиванию врагов — будь то враги народа, мира, социализма или чего-то еще.

— В минувшие, доперестроечные времена наши внутренние дела держались под строжайшим секретом. А о внешних и говорить не приходится. Но и сейчас, когда открылись многие, закрытые прежде, области, общественное мнение все-таки о многом продолжает пребывать в неведении. В том числе и в области дипломатии. Здесь по-прежнему много «белых пятен». Скажите, какой «сектор» для советской дипломатии наиболее труден: отношения с капиталистическими странами или с государствами, которые до недавнего времени назывались сплошь социалистическими? Чем объяснить, что события, происшедшие в конце прошлого года в Восточной Европе, были для многих полной неожиданностью?

— Вот вы сказали, что общественное мнение «продолжает пребывать в неведении» о многих наших внешних делах. Это не вина нашего ведомства. Претензии в этой связи нужно предъявлять средствам массовой информации. Дипломатии — не в ее чисто протокольных актах — трудно получить место в газете и особенно время на телевидении. Не скрою, у нас есть проблемы с отдельными редакциями Центрального телевидения. Мы, например, предлагали организовать циклы бесед с дипломатами, просили ведущих популярных программ включать в них «дипломатические сюжеты». Отказа вроде бы не было, нам обещали позвонить, сообщить, но конкретных дел так и не последовало. Вот последний случай. У меня была встреча и продолжительная беседа с ведущими из «Взгляда». Я пригласил бригаду этой молодежной программы слетать вместе с советской делегацией в Оттаву на конференцию по «открытому небу». Ребята приняли предложение с энтузиазмом. Однако через пару дней нам сообщили, что такая поездка им запрещена. Кем, почему — неизвестно.

Но если уж пошел разговор о мидовской гласности, то замечу, что наше министерство выпускает информативный «Вестник». Несколько дней назад вышел и первый номер этого журнала на английском языке. Веление времени преобразило и наш старый журнал «Международная жизнь». В нем печатаются острые, дискуссионные материалы. Мне кажется, что он сейчас выходит на мировой уровень изданий внешнеполитического направления.

Теперь о второй части вашего вопроса. Мы не делим отношения с миром на трудные и легкие секторы. Везде трудно, но по-разному. Вполне возможно, что для некоторых людей события в Восточной Европе оказались неожиданными. Думаю, что элемент неожиданности заключался на самом деле не в общем характере и направленности перемен, а в их темпе и глубине. Знаю, есть разговоры, будто бы МИД был застигнут происходящим врасплох. Это, простите за откровенность, чепуха.

— Тогда позвольте спросить вот о чем: традиционно послами в странах «соцлагеря» назначались не так называемые «карьерные дипломаты», а бывшие работники партгосаппарата высокого уровня. Для одних это «новое назначение», как в одноименном романе Александра Бека,— опала, вид почетной ссылки, для других — своеобразная награда, «компенсация» за прежние заслуги, отдых перед пенсией. И хотя в каждом конкретном случае причины бывали разные, в этой практике прослеживалась одна общая черта: на пост послов назначались и еще назначаются люди одного «кроя», одной «выделки», одинаковой психологии — психологии руководителя области, края, республики или ведомства, привыкшего приукрашивать дела в своем сусеке, «гнать» наверх розовую цифру и подслащенную информацию, которая не отражает истинного положения вещей.

Не кажется ли вам, что такое «феодальное» мышление и раньше приносило мало пользы, а теперь просто вступило в противоречие с новым политическим мышлением, наносит ему урон? Не потому ли недавние бурные события в странах Восточной Европы оказались для нас столь неожиданными, что слишком уж приукрашенную, необъективную информацию получали мы из этих стран?

— Если я хорошо помню роман Бека, то его герой Онисимов был человек недюжинный и на новом своем посту проявлял незаурядные свои способности. Подобных ему знаю немало и в нашем посольском корпусе. Я мог бы на-

звать множество имен «некарьерных дипломатов», составивших славу и гордость нашей дипломатии, как мог бы назвать и тех, кто стал для нее лежачим камнем. Кстати, дипломатическая служба любой страны привлекает в свои ряды людей из политики, делового мира, деятелей искусства, работников госаппарата и партийных функционеров. Это, думаю, нормальная практика. Другое дело, каких людей привлекать и использовать.

Вообще должен заметить, что я против среднеарифметического, плоскостного подхода к людям и явлениям, хотя всегда за то, чтобы тенденция была выявлена. Тот же Владимир Игнатьевич Бровиков, столь резко критически хлестнувший на последнем Пленуме и по собственному ведомству, приступил к своей работе посла в Польше с четкой и умной концепцией перестройки важнейшего звена нашей внешнеполитической службы — посольства. Могу заверить, он не слал в Центр необъективную, приукрашенную информацию.

Мы, в Москве, имели реальное представление о процессах, происходящих в Польше, в других союзных странах. Знали о настроениях в обществе. Да и как тут вообще можно было заблуждаться, когда в «соцлагере» были 1953, 1956, 1968 годы и многие другие события, говорящие о многом. Конечно, проще простого провести те события по реестру «происков империализма» и заслониться этой идеологической схемой от взрывов народного недовольства и гнева, вызванных насилием над историей, демократией, традициями, образом жизни, здравым смыслом, наконец. Но надо ли напоминать о том, что в первых шеренгах всенародных маршей протеста против бездумного насаждения казарменной модели социализма шли рабочие — судостроители, горняки, как это было в Польше? Разве мы не знали, что часть населения ГДР давно уже «голосовала ногами» в сторону ФРГ? Посольство давало нам точные цифры. Разве оставались тайной многочисленные — и часто смертельные — попытки перебраться через Берлинскую стену? Нет, и об этом мы знали. К сожалению, ложно трактуемые идеологические постулаты перекрывали пути такой информации в наши газеты, на телевидение и радио. Мы не говорили своему народу об этом. Само собой подразумевалось, что доминанта наших отношений — это партийные связи, а они, как правило, охватывали узкий круг элиты. Ни один посол без риска для своей карьеры не смел устанавливать связи с поставленной вне закона оппозицией, изучать ее настроения и целеустановки, поддерживать ее. Кстати, такая сдержанность в контактах с оппозицией — нормальная международная практика, и мало найдется стран, дипломаты которых станут нарушать существующие тут табу.

Среди моих коллег в центральном аппарате МИДа есть немало бывших работников посольств в странах Восточной Европы. Еще пять и восемь лет назад они слали в Центр телеграммы, однозначно утверждавшие: пребывание наших войск в этих странах может создать для нас проблемы. На эти предупреждения, увы, не реагировали, что, сами понимаете, вполне закономерно: все мы такие, какими нас сделало время. Поэтому давайте говорить конкретно о конкретных людях. Не будем распространять на всех поголовно и в наиболее удобных для себя вариантах недовольство партгосаппаратом, не будем искать с резью в глазах козлов отпущения. Эта наша давняя печальная традиция мешает видеть настоящие причинно-следственные связи, затемняет исторически объективную картину действительности.

— Большинство наших читателей, уверен, придерживаются такого же, как и вы, мнения...

— Простите, я не их имею в виду. Я отвечаю тем, кто сейчас кричит: «Как, почему допустили?» А что допустили? Что нам могут предложить? Какие методы? Снова вмешаться в чужие внутренние дела? Силой навязать удобных нам руководителей? В самой подобной постановке вопроса заложен все тот же имперский менталитет — имеем право диктовать, распоряжаться, командовать!

— Вы патриот своего ведомства...

— Поверьте, я никого не защищаю. В первую очередь не защищаю себя. В ряду «виновников развала соцлагеря» теперь называют и мое имя. Не скрою, это больно слышать. Но отнюдь не по той причине, которую имеют в виду мои «обвинители». Больно и обидно потому, что подобные обвинения не учитывают объективных реальностей, в первую очередь реальностей отечественных. Игнорируют адекватные в современных условиях требования нашей безопасности, которая не может вечно держаться на угрозе силой. Обидно и больно потому, что нежелание или неумение понять это, стремление жить и действовать по старым критериям и нормам — в ущерб перестройке. Может, «обвинителям» следовало бы подумать о том, что не кто-нибудь, а они сами ускорили развал «соцлагеря»? Своим идеологическим консерватизмом, своим нежеланием понимать чувства другого народа, своей манией лепить его жизнь по своим представлениям, видеть в суверенных государствах «буфер», как выразился один наш «истинный интернационалист».

— Поясните, пожалуйста...

— Среди многих объяснений последних событий в странах Центральной и Восточной Европы есть и такое, на мой взгляд, отнюдь не беспочвенное: волну демократического обновления в них подтолкнуло опасение за срыв советской перестройки. Не она сама как таковая, а страх, что ее остановят и все вернется на круги своя, в том числе и прежние доктрины и порядки. Что в этих странах навечно останутся наши войска и вооружения, традиция учить, наставлять, вмешиваться во внутренние дела, вести к краху и развалу экономики этих государств по скомпрометированному вконец пути лжесоциализма.

Согласитесь, этот путь не соответствовал нашим интересам. Интересам нашей безопасности. Наоборот, я глубоко убежден, что нашим интересам соответствует ситуация, когда соседями Советского Союза являются свободные, демократические, процветающие государства, равно открытые и на Запад, и на Восток, а не та ситуация, когда вокруг нас искусственно создается «санитарный кордон» из весьма сомнительных и шатких режимов. Нашим интересам отвечает демократический характер общественно-политических преобразований в этих странах, а не сохранение прячущейся за свои и чужие штыки власти.

— В этой связи всех нас волнует вопрос объединения Германии. Мы, конечно, понимаем, что право на самоопределение универсально, и немецкий народ не может составлять исключения. Но, с другой стороны, кроме понимания этого, кроме доводов рассудка, есть еще память. Память историческая, память чувств. Она особенно глубока в нашем народе. Я вот говорю об этом с вами, а перед глазами стоит картина эвакуации из Москвы в ночь с 16 на 17 октября 1941 года. Никогда не забуду ночную бомбежку нашего поезда. Разоренные, сожженные дотла оккупантами деревни родного моего Черноземья, куда я приехал в 1943-м. Не забуду вой баб и плач детей, которые получали похоронки на своих кормильцев.

Дважды на протяжении одного столетия с немецкой земли начинались самые страшные войны века. Разве уроки истории ничего не значат? И если мы считаемся с чувствами немецкого народа, то должен ли он игнорировать наши чувства, чувства других народов Европы? Наверное, и у вас самого есть личный счет войне. Мне хотелось бы услышать ответ не столько министра иностранных дел, сколько гражданина своей страны, человека, которому было всего тринадцать лет, когда враг напал на его страну. Хотя и далеко от фронта было ваше село Мамати, эхо войны, уверен, докатилось и до него. У вас есть личный образ той войны?

— Разумеется, есть. Один мой брат погиб в первые дни войны, защищая Брестскую крепость. Другой вернулся домой изувеченный и всю оставшуюся ему жизнь прожил в муках.

И не столь уж далеко отстоял фронт от нашего села: летом 1942 года враг вышел на перевалы Кавказа, бои шли в Причерноморье. В Мамати и окрестных селах тогда не осталось мужчин. Из семисот тысяч, призванных из Грузии в действующую армию — фактически все взрослое мужское население,— не вернулась половина. Мы издали Книгу памяти — там все они названы поименно. У каждого советского человека есть своя книга памяти, и никакие события в мире не закроют ее. И когда вскипающая на волне обновления пена оскверняет памятники павших за освобождение Европы от фашизма, я испытываю не только боль, но и тревогу. И как гражданин своей страны, и как ее министр иностранных дел.

И в том, и в другом своем качестве я обязан сделать все, чтобы слишком явные ныне призраки германского национал-шовинизма не обрели плоть и кровь, чтобы ни сейчас, ни когда-либо в будущем объединенная Германия не была бы угрозой миру. В нашем подходе к германскому вопросу право немцев на самоопределение неоспоримо. Нам хорошо понятны чувства разделенного народа и его желание воссоединиться. Это естественный ход вещей. Столь же естественно и неоспоримо право других народов Европы, как и мы, немало настрадавшихся от германского милитаризма, обезопасить свое будущее.

Мы уверены, что выход может быть найден с помощью недавно учрежденного механизма «2 + 4», закрепляющего ответственность четырех великих держав — СССР, США, Англии и Франции — за решение германского вопроса. Найден путем синхронизации движения к немецкому единству с хельсинкским процессом и особенно через формирование структур коллективной безопасности в Европе. На этот счет имеется достаточно широкое международное согласие. Добавлю, что через некоторое время советское руководство намерено изложить свои принципиальные взгляды по всем проблемам, связанным с немецким единством.

— Мне хотелось бы вернуться к нашим внутренним делам, вернее, к вопросу о том, как сказываются на нашем международном положении, какие внешнеполитические последствия вызывают участившиеся в стране конфликты на национальной почве, различные центробежные устремления, призывы к обособленности в отдельных регионах, забастовки, беспорядки...

— К сожалению, все это не проходит бесследно для международных позиций нашего государства. Ведь Советский Союз — это одна из опор стабильности современного мира. Нас трясет, значит, трясет и остальной мир. Знаю: некоторые говорят, что нам нужно забыть о других и заняться своими собственными делами. Это могут говорить только те, кто не имеет представления о характере сегодняшних угроз и вызовов. «Не наших» проблем в мире уже нет. Все проблемы можно решать только сообща. Отсюда — тенденция к интеграции и интернационализации. Из этого вытекает императив и для нас. Он — в укреплении национально-государственного суверенитета союзных республик на базе разумных интегрирующих структур.

Мы ведем сейчас речь о создании нового союза как договорного сообщества республик и народов, чья национальная суверенность может быть обеспечена реальными политическими, правовыми, хозяйственными институтами. Современные международные обстоятельства таковы, что даже самые сильные государства не могут позволить себе «роскошь» обособления. Любое разобщение несет в себе зерна дестабилизации, равно губительной как для отдельной страны, так и для мира в целом.

Не без оснований идет сегодня серьезный разговор о строительстве общеевропейского дома. Не мы одни считаем, что в этом — будущее Европы. Мы спорим об архитектуре, о планировке этого дома, но не о его полезности. Уверен, недалеко то время, когда мы начнем думать и об общепланетарном доме, в котором каждая нация, каждый народ найдут себе достойное жилище.

Хорошо, если дела пойдут в этом направлении. А если нет? И если это произойдет, может быть, по нашей вине, по нашей безответственности, то каким будет тогда суд истории? Разве можем мы быть безразличными к этому? К условиям жизни наших детей и внуков? Нам дан шанс — может быть, последний — установить на планете мир. Неужели мы упустим его?

Вот вы спрашиваете, сказываются ли наши внутренние дела на международной арене. Еще как сказываются!

Сейчас мы ведем постоянные переговоры с Западом, азиатскими государствами, и все время я ощущаю общее беспокойство наших партнеров за перестройку. Прямо скажу: все здравомыслящие политики, и не только политики, а и простые люди переживают за ее судьбу. И не потому, что они влюблены в нас, нашу систему, увлечены нашими идеями и так далее. Вовсе нет. Людей беспокоит, что нестабильность в Советском Союзе чревата дестабилизацией всей мировой ситуации, мировой обстановки. Я сопровождал Михаила Сергеевича во время его недавнего визита в Италию. Я видел, как встречали главу нашего государства в Риме и особенно в Милане. Удивительные встречи, взрыв эмоций. Позже в беседе с Андреотти я спросил: «Господин премьер-министр, объясните, что происходит. Мы ждали, что будет хорошая встреча, но не в таких масштабах». «Происходит,— отвечает он (цитирую, разумеется, по памяти),— самое элементарное: все последние десятилетия мы боялись вас как огня. Теперь вы этот страх сняли, вы нас, всю Европу освободили от него. Вот почему Европа так переживает за перестройку Горбачева. Вы сняли с себя образ врага, вы изменились, качественно изменилась обстановка на континенте, открылась перспектива действительно строить общую, единую Европу. Вот все это мы связываем с Горбачевым, с перестройкой, вашей демократизацией. Вот народ и хочет как-то выразить свое отношение, свою поддержку вашим делам. Ничего другого. Мы заключаем, подписываем с вами

большие экономические соглашения, разрабатываем проекты совместного строительства предприятий. Но не это самое главное. Поверьте, у нас есть более крупные сделки с другими государствами. Самое главное — в этом и заключается психологический, моральный, политический эффект,— что мы вам поверили. Вы освободили нас от этого груза постоянного страха».

Я думаю, что это происходит во всем мире.

— И если наша перестройка запнется, то единая Европа окажется урезанной. Она окажется без нас. И кто от этого больше всего потеряет — ясно каждому...

— Умные люди на Западе понимают альтернативу: если перестройка потерпит крах, в стране наступит анархия, а это — полный развал государства. Или же произойдет другое — что скорее более реально — к власти придет диктатор. Большой диктатор или опереточный — не в том суть. Я не исключаю, что такие варианты могут случиться и в странах Восточной Европы или в объединенной Германии.

И чтоб этого не произошло, мы должны успеть столковаться друг с другом о безопасности в Европе, и мы должны форсировать этот процесс. Но опять для этого нам нужна внутренняя стабильность, нужна относительно спокойная жизнь. Они сейчас залог успеха.

Многие этого не понимают, усиленно нагнетают обстановку в стране. Может быть, это идет от благодушия: вот заключили соглашение с американцами, сказали, что мы не будем воевать против них, что не рассматриваем их в качестве военного противника. Действительно, идет процесс реального сокращения обычных вооружений, есть хорошая перспектива заключить еще один договор. Положительная тенденция бесспорна, но все-таки нет полной гарантии, что все пойдет гладко. Ведь гонка вооружений не остановлена. Она все еще идет. А мировые экологические проблемы? Я уверен, что через 10 лет решать многие из них будет поздно. Сейчас же еще не все потеряно. И опять наше участие в этом благородном деле связано с нашими внутренними делами и с нашей стабильностью. Не знаю, насколько я логичен, но я убежден: если перестройка не состоится, это приведет к анархии. И не только в масштабах страны. Выход я вижу в одном: укреплении демократических институтов и создании сильной функционирующей распорядительной и исполнительной власти, способной защитить и демократию, и перестройку. Другого пути нет. Я всегда выступал за сильную президентскую власть...

— Но все зависит от того, кто будет президентом.

— Реально на эту роль может претендовать сейчас только один человек. Другого я не вижу...

— Большинство из нас не видит другого. Хотя существуют и иные мнения. Тем более где гарантии, что через десять или пятнадцать лет сильная президентская власть не окажется в недостойных руках?..

— Всякое может быть. Если съезд изберет Горбачева, Михаил Сергеевич успеет сделать многое из того, что даст необходимые гарантии необратимости процесса демократизации. А если мы это сделаем, то случайный человек не проберется к власти и народ его просто не изберет.

— Многое, думается, будет зависеть от состояния нашей экономики...

— Думаю, с экономикой дело поправится. Вспомните Соединенные Штаты Америки во времена «великой депрессии». Чтобы вывести страну из катастрофы, Рузвельту потребовалось два пятилетия. Богатейшая страна была в 20-е годы, а куда скатилась за время кризиса? Демонстрации безработных, по которым армия открывала огонь. Свыше 100 тысяч заявлений, чтобы переселиться в Советский Союз. Такая тогда сложилась ситуация. И все-таки из нее нашли выход. Любые переломные этапы связаны с большими трудностями. Столкнулись с этим и мы. Но заработает механизм, который создает сейчас Верховный Совет, и мы сумеем найти решение, которое оздоровит экономику страны. И для этого у нас есть в конце концов и такой огромный резерв, как внешняя политика.

— Вы имеете в виду...

— Нашу нынешнюю внешнюю политику — самую рентабельную из отраслей... Конечно, мы не вкладываем в хозяйство никаких капиталов, но мы не обращаемся в казну и за миллионами, миллиардами валюты. Получаем сейчас то, что нам давали 10 лет тому назад. Но экономический эффект нашей деятельности трудно переоценить. Если бы страна по-прежнему штамповала ракеты средней дальности, если бы не было реального сокращения армии, снятия с вооружения десяти тысяч танков, 800 боевых самолетов, сколько бы это потребовало миллиардов рублей! Противостояние заставило бы нас наращивать военное присутствие в Европе. Сейчас же мы, наоборот, выводим свой довольно большой контингент из Чехословакии, из Венгрии, из Монголии — и это все сэкономленные для хозяйства средства. И если бы нам, как прежде, пришлось наращивать наши вооружения вдоль советско-китайской границы — 7,5 тысячи километров! — во сколько бы обошлось это противостояние? Кто сосчитает эти десятки и десятки миллиардов? А если бы не ушли из Афганистана? Эта, так сказать, кампания обошлась нам в 60 миллиардов рублей. Подытожьте все это. А сколько еще ненужных нам программ мы уже сокращаем и еще сократим, договорившись с американцами? Сейчас мы не производим химическое оружие. Это тоже огромные деньги. Все эти меры позволили переключить военные лаборатории и предприятия на мирные цели. К сожалению, страна оказалась не готовой к конверсии, потому что многие просто не верили, что нам удастся заключить эти соглашения. Но это пока. Завтра-послезавтра бывшие военные предприятия с самой передовой техникой заработают на народное хозяйство. Так что за экономику я не так переживаю. Трудности есть, но можно уже видеть и положительные тенденции, сделать их необратимыми. Не сомневаюсь.

Меня больше беспокоит происходящий сейчас взрыв эмоций, какая-то непримиримость в межнациональных отношениях, разнузданная демагогия, которая чрезвычайно опасна в это нелегкое время. Именно поэтому я считаю, что мы должны убедить всех народных депутатов, весь народ в том, что стране нужен президент с большими полномочиями, но опирающийся на демократические институты.

— И тогда весь огонь недовольства будет направлен на него. За то, что нет мяса, нет обуви, нет колготок...

— Не страшно. И сейчас весь огонь на него. И никого не убедишь, что, допустим, в чем-то Шеварднадзе виноват, а в чем-то Маслюков или кто-то еще. Все — и хорошее, и плохое — идет в адрес Горбачева. Но я знаю: человек он смелый, решительный, ответственности не боится. Но и спросить сумеет. Уверен, нам нужны сильная президентская власть и политический плюрализм.

— С этим трудно спорить. Но вот смотришь на этот самый плюрализм в нашем «расейском» исполнении, и становится грустно. А чаще всего страшно. Любимое слово нынешних плюралистов — левых, правых, центристов, короче, всех нас — «долой». Да и у властей этот лозунг, прямо скажем, в большой чести. Чуть что не так, как было раньше, как было привычно, сразу: «Долой!»

И ничему-то нас не учит наша история. Ни отдаленная временем, ни совершенно свежая, свидетелями которой все мы стали всего несколько месяцев, а то и несколько дней назад.

Вроде бы трагедия в Сумгаите должна была научить всех. Куда там! Не замедлили проявить себя события в Карабахе, Тбилиси, Фергане, Душанбе, Баку. Одно страшнее другого. И всюду их сопровождало наше извечное проклятие, болезнь, беда — запоздалая неточная информация, заведомая ложь, подтасовка фактов. И все перед ликом безвинно погибших, когда врать и утаивать правду — самый тяжкий грех.

Извините, Эдуард Амвросиевич, но я все-таки решусь задать вам вопросы, которые, боюсь, будут вам не особенно приятны, так как касаются они прошлогодней трагедии в Тбилиси. Вам, грузину, проработавшему в этом городе много лет и ставшем вам поэтому родным, я понимаю, будет неприятно вспоминать о кровавом рассвете 9 апреля. Но, поверьте, у меня просто нет другого выхода. После доклада Комиссии Съезда народных депутатов СССР, которая, казалось, глубоко и объективно исследовала все факты, «Огонек» опубликовал большое интервью председателя этой Комиссии Анатолия Александровича Собчака — вроде бы были расставлены все точки над «i», и в этом запутанном деле всем все стало ясно.

Но вдруг на последнем Пленуме ЦК КПСС обсуждение этой истории получило продолжение. Потом ее стали дополнять новыми подробностями лидеры неформалов и так далее. Опять все покрылось флером недомолвок, намеков, обещанием провести новое расследование, выявить истинных виновных, привлечь к ответственности.

Эдуард Амвросиевич, в свое время вы работали в Грузии в комсомоле, занимали посты министра внутренних дел, первого секретаря Тбилисского горкома и ЦК компартии республики. После трагедии 9 апреля в Тбилиси выезжали туда как член высшего руководства страны. Мне кажется, что все это дает вам возможность судить о тех событиях более глубоко и обоснованно, чем кому-либо другому. Что же все-таки произошло в Тбилиси? Почему? Могло все пойти иначе? Как бы вы поступили на месте грузинских руководителей в ту трагическую ночь?

— Мое личное мнение я высказал на Пленуме ЦК Компартии Грузии 14 апреля прошлого года, на митингах и встречах в Тбилиси, проходивших в те же апрельские дни. Я однозначно осудил карательную акцию против демонстрантов. Со мной беседовали члены Комиссии Съезда народных депутатов СССР, возглавляемой народным депутатом СССР Собчаком. С выводами Комиссии я полностью согласен, так как они глубоки, профессиональны, а главное, объективны. Могу еще раз повторить уже сказанное: если нет угрозы жизни, здоровью и достоинству граждан, если митинги и шествия не переступают границы закона, то надо действовать в его рамках и исключительно политическими средствами. Тем более надо действовать политическими средствами, когда немалую часть митингующих составляют женщины и дети.

Я не случайно затрагиваю этот вопрос. Задолго до апреля 1989 года, еще в ноябре 1988-го ситуация в Тбилиси была не менее взрывоопасной. Несколько сотен молодых людей голодали тогда на ступеньках Дома правительства, выражая тем самым протест против ряда предложенных поправок к Конституции, ограничивающих, по их мнению, суверенитет республики. И днем, и по ночам проходили многотысячные митинги. На стороне голодающих и митингующих было всеобщее сочувствие. Хватило бы малой искры, чтобы масса воспламенилась.

Так получилось, что в те дни в Тбилиси не было первого секретаря Компартии Грузии. На пике событий — хорошо это помню — мне позвонил М. С. Горбачев. Это было в два часа ночи. Он выразил крайнюю озабоченность развитием ситуации и попросил передать его обращение к митингующим, ко всему грузинскому народу, интеллигенции и молодежи республики. Подчеркнул, что люди должны знать, что все их разумные требования будут учтены при доработке поправок к Конституции.

Я связался с тогдашним секретарем ЦК Грузии Нугзаром Попхадзе — он может это подтвердить — и через него передал все то, что сказал Михаил Сергеевич. Обращение из Москвы было встречено с пониманием. Оно сработало, и обстановка стала разряжаться. Специально подчеркиваю это обстоятельство, так как вопреки фактам, вопреки всем установкам и методам, предлагаемым Горбачевым, сейчас вновь поднимается вопрос об обстоятельствах ввода войск в Тбилиси накануне 9 апреля, а также о санкционировании этого решения высшим руководством страны. Причем в первую очередь обвиняется Генеральный секретарь ЦК.

Если говорить спортивным языком, я человек командный и не люблю раздоров. Они мешают делу. Однако когда речь заходит об истине, то тут в расчет не могут быть приняты никакие соображения командности, мнимой сплоченности. Правда превыше всего!

Поздно вечером 7 апреля советская делегация, возглавляемая М. С. Горбачевым,— в ее составе находился и я,— вернулась в Москву после официального визита в Великобританию. В аэропорту состоялась обычная для таких случаев встреча. Собрались в зале ожидания. Минут тридцать Михаил Сергеевич рассказывал об итогах переговоров в Лондоне. Потом, если мне не изменяет память, Николай Иванович Рыжков проинформировал о положении в тех регионах, где из-за забастовок тогда сложилась очень острая ситуация. Была и другая информация, в том числе и о Грузии. Было сказано, что там идут массовые митинги и что республиканское руководство несколько раз просило оказать помощь в наведении порядка.

Нам рассказали, что утром в ЦК КПСС состоялось совещание, на котором были приняты все необходимые решения, в том числе и о возвращении из Армении в Грузию подразделения внутренних войск, которое постоянно дислоцируется в Тбилиси. Также было сказано, что там уже находятся первый заместитель министра обороны и заместитель министра внутренних дел. Факт проведения совещания в ЦК 7 апреля и его повестка установлены депутатским расследованием. Кстати, выводы Комиссии по этому совещанию обнародованы на заседании Съезда и их никто не поставил под сомнение. Тогда же, в аэропорту, Михаил Сергеевич категорически потребовал, что, как бы ни складывалась ситуация, ее надо разрядить только политическими средствами.

Далее он, обращаясь ко мне, сказал: мол, понимаю, что все устали, но надо посоветоваться с грузинскими товарищами, и если они сочтут это нужным, то мне и Г. П. Разумовскому следует вылететь в Тбилиси. Я позвонил Джумберу

Ильичу Патиашвили. В результате разговора с ним наш приезд был сочтен нецелесообразным.

На следующее утро из Тбилиси была получена телеграмма — как вы знаете, она была обнародована на Съезде,— которая подтвердила, что обстановка в городе контролируется, а потому приезд представителей высшего руководства нецелесообразен. Я думаю, что у грузинских товарищей были опасения, как бы приезд члена Политбюро не привлек внимания населения города и еще больше не обострил ситуацию, сделал ее неуправляемой.

И вот рано утром 9 апреля мне позвонил Михаил Сергеевич. Спрашивает:

— Что там произошло в Тбилиси? Получил только что информацию. Сообщают, что разогнали демонстрацию, есть пострадавшие.

— Мне только что звонил дежурный, передал то же самое. Попытаюсь немедленно разобраться...

Через некоторое время М. С. Горбачев принял решение, что мы с Г. П. Разумовским должны срочно вылететь в Тбилиси и любой ценой стабилизировать ситуацию.

Находясь в Тбилиси, мы с Г. П. Разумовским поддерживали постоянную связь с М. С. Горбачевым, согласовывали с ним все действия по нормализации обстановки и снятию комендантского часа, равно как и другие мероприятия организационного характера, которые были тогда осуществлены. На все мы получали согласие Михаила Сергеевича, имели его полную поддержку. Вот как все происходило. Поэтому я со всей ответственностью говорю, что никакого отношения к решению о переброске воинских подразделений, не говоря уже об использовании силы для разгона демонстрации в Тбилиси, глава нашего государства не имел.

— Если бы вы были на месте грузинских руководителей, могли бы события развернуться по-другому, или они достигли точки, когда ситуация становится неуправляемой?

— Не могу ничего утверждать по поводу развития событий. Однако совершенно определенно могу сказать: если бы мы с Разумовским были там, мы бы пошли на площадь к народу.

— Даже после того, как было принято решение о применении войск?

— Даже тогда. Даже если бы задавили танками...

— Почему же не вышли местные руководители? Побоялись?

— Я не скажу, что они побоялись. Я знаю многих из них — это люди нетрусливые. Но бывают ситуации, которые выбивают человека из колеи. Они не ожидали, что соберется такая масса народа, не предполагали, что все кончится трагедией. В таких случаях трудно определиться, принять верное решение.

— То есть ситуация лишает способности к логическому мышлению?

— Да. Именно это, наверное, и произошло. И был нарушен привычный механизм: собраться, обсудить, принять решение всем вместе. Я бы, например, без колебания пошел туда. Руководитель — он должен находиться со своим народом в любой сложной ситуации, в любой момент. Вот этот принцип, может быть, самый элементарный, но тем не менее самый главный, был нарушен.

— Честно говоря, мне не совсем понятно поведение генералов, возглавлявших операцию...

— Мне тоже оно непонятно... В наше время военным такого высокого ранга мало быть просто вояками, они должны быть еще и политическими деятелями. Вот, например, за все почти 14 лет, что я работал первым секретарем ЦК Компартии Грузии, занимался военными делами, был членом военного совета и постоянно общался с пограничниками, я не помню ни одного инцидента между пограничниками и местным населением. Такое поведение пограничников органично, наверное, сидит в крови, ибо без населения, его поддержки они не могут успешно выполнять свой долг — охрану границы. У них выработалась практика умело строить отношения с народом. В отсутствии этого качества я и обвиняю Родионова. Допустим, секретарь ЦК испугался. Допустим, генералу приказали двинуть на площадь войска. Но почему он перед тем не вышел на трибуну и не обратился к народу: «Дорогие грузины, дорогие товарищи, вот я, командующий округом, ваш депутат, обращаюсь к вам. Я люблю вас, люблю Грузию, люблю эту землю, и мне дорога жизнь каждого из вас. Но через 10 или через 30 минут я должен вывести на площадь войска. Поэтому я обращаюсь к вам, я умоляю вас: расходитесь! Вот я первым покидаю эту площадь, прошу вас последовать моему примеру».

Я уверен, люди бы его послушали. Беда, что и он, и некоторые другие товарищи по-другому смотрят на эти вещи. Беда, что они не спешат перестраиваться. Раньше, при царе, в Грузии были наместники, наместники российского императора. Разные это были люди. И плохие — тоже. Но был и граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, который за десять лет своего пребывания на Кавказе установил самые добрые отношения с грузинской интеллигенцией, с народом. Он на собственные деньги содержал десятки студентов, посылал их в самые лучшие учебные заведения Европы и России, воспитывал их, а когда они вернулись на родину, то стали основателями очень многих научных школ. Таков был этот граф Воронцов, наместник царя. И среди наших были прекрасные командующие округом. Например, маршал Рокоссовский. Когда он приехал в Грузию, то всего за шесть месяцев, что здесь командовал, стал всеобщим любимцем. Когда он выходил на проспект Руставели, просто так, пройтись, его окружала толпа, ему аплодировали. Да и не только к нему так относились. К другим командующим тоже. Потому что они понимали, без общения с народом не заслужишь уважения. А вот здесь произошло какое-то отчуждение.

— У нас сейчас во многом проявляется этот элемент отчуждения...

— Это надо преодолеть. Иначе не избежать и в дальнейшем всяких глупых решений, как решение о применении силы в Тбилиси. Да, там были непримиримые лозунги, выкрики, было всякое. Но в основном на площади находились люди, представлявшие грузинскую интеллигенцию,— писатели, художники, академики, профессора, дети, женщины и молодежь. Разве можно было пойти на применение силы? Многих из них я знаю лично, поэтому не поверил, что они заявляли: «Давайте ворвемся в Дом правительства, займем Центральный Комитет». Позже встречался с ними на собрании в Академии наук, в государственном университете, на киностудии, в рабочих коллективах, и мне объяснили, почему люди вышли на площадь семьями, с детьми. Дело в том, что утром 8 апреля военные провели «репетицию»: вывели на улицу танки, бронетранспортеры, и у людей появился страх, что могут расправиться с той малочисленной группой, которая оставалась на площади. Поэтому ночью и вышли все: когда народу будет много — не тронут. Оказалось — тронули, да еще как.

Трудно и сейчас вспоминать об этом. Трудно забыть, как один мой давний друг, которого я принимал в партию, когда был секретарем райкома, подошел к трибуне и положил на нее свой партбилет.

— Все вроде бы всем ясно, почему тогда с опровержением выводов Комиссии Собчака выступил военный прокурор?

— Мне тут многое непонятно. Раз было принято решение заслушать Комиссию Съезда народных депутатов СССР, то не надо было никаких содокладчиков. Не согласен с выводами Собчака — выступи, как все, в прениях. А Катусев стал выступать в качестве, скажу прямо, обвинителя. Честно говоря, мне пришлось мобилизовать все свои внутренние ресурсы, чтобы выслушать военного прокурора до конца. Он был возмутительно необъективен, я бы сказал, нечестен. С человеческой точки зрения это просто необъяснимо. Как необъяснимы и бездоказательны многие аргументы и обвинения, которые он приводил.

— Но, как я знаю, вы встречались с ним и в Тбилиси...

— В этом-то все и дело. Когда мы с Разумовским приехали в Грузию, то начали с того, что каждое утро проводили оперативное совещание с участием членов ЦК, правительства, военных, прокурора, представителей КГБ, секретарей райкомов города. Как правило, на совещаниях всегда присутствовал и товарищ Катусев. Уже на втором заседании свидетели стали говорить о применении саперных лопаток против демонстрантов. Помню, спросил всех участников совещания: так ли это? Военные отвечают: никаких лопаток не было. На следующий день я снова задаю вопрос, потому что о лопатках мне уже говорили на встрече в Академии наук. Опять все отрицают, в том числе и военный прокурор отрицает... Только на третий день было сказано, что лопатки — табельное оружие — были и солдаты имели право применить их как средство защиты. То есть в течение двух с половиной дней членам высшего политического руководства мешали установить эту элементарную истину. Руководители операции и люди, которые вели следствие, без зазрения совести лгали. Потом появились слухи, что были применены химические средства. Я сразу задаю вопрос: «Скажите честно: было? Слухи ходят, все спрашивают. Мне надо выступать перед народом. Я же не могу сказать людям, что я не в курсе, все же я член Политбюро». «Какие там химические средства?!» — отвечают.— Никаких химических средств не было. Заявляем со всей ответственностью. Все это клевета. Это дезинформация, провокаторы хотят возбудить людей». Я поверил, а на встречах, в коллективах люди уже решительно допрашивают меня: «Если вы член Политбюро, то вы должны знать, что происходило. А мы точно знаем, что химические ядовитые вещества применялись». Опять я пытаюсь задать участникам операции и прокурору тот же вопрос. Опять они все отрицают.

Отчетливо помню: встает на заседании бюро министр здравоохранения республики и говорит, что в больницах лежат десятки людей с ожогами верхних дыхательных путей, типичных для случаев химического отравления. Говорит, что врачам нужно знать, что было применено, чтобы знать, как спасти людей, облегчить их страдания.

В ответ — единодушный хор военных: ничего такого не было и быть не могло.

И только на седьмой или на восьмой день моего пребывания они наконец сказали: да, внутренние войска применили табельное химическое оружие «Черемуха». А ведь до этого говорили, что если какие-то химические средства применялись, то делали это сами участники демонстрации в провокационных целях.

А уважаемый Катусев присутствовал на всех этих совещаниях и все это знал. И не счел почему-то нужным прямо и честно сказать об этом на Съезде народных депутатов.

— Генерал Родионов и руководители операции тоже отрицали это?

— Да, все отрицали это. Никак не пойму, зачем. Ведь ясно, что все равно раскроется. Понимали и лгали. Это страшно.

Я встречался с деятелями литературы и искусства, пришли и неформалы, и стали вместе меня допрашивать: «Как с химией?» Я отрицаю. Они не верят. Говорят: «Вы тоже заодно с убийцами. Мы все знаем, сколько лежит в больницах людей с отравлениями. Все это врачи подтверждают, экспертиза подтверждает, а ты отрицаешь. Как тебе после этого верить? Никому не поверим. Пускай придут эксперты из ООН и Красного Креста. Другим у нас больше веры нет». И это говорил мне мой народ...

— Да, положение у вас было — не позавидуешь...

— И еще одна ошибка. Уголовное расследование этого преступления не нужно было поручать военной прокуратуре. Будучи военным прокурором, товарищ Катусев не может оставаться объективным...

— Родное Министерство обороны не позволит...

— Безусловно. Хочешь не хочешь, а ведомственные интересы заставят выкручиваться вопреки фактам. Хотя армия тут вообще-то ни при чем. Я сказал об этом и в своем выступлении в Тбилиси. Тем более что единственный, кто до конца сопротивлялся ее применению, был Родионов.

Вообще мое принципиальное мнение: авторитет армии надо беречь. При всех условиях. Не допускать такого положения, когда она занималась бы не своим делом. У нее своих задач более чем достаточно. И мы должны сделать все, чтобы крепить ее, уважать тех, кто стоит на страже Родины. У армии есть и должна быть единственная миссия — защитить отечество. Армия не несет ответственности за грузинскую трагедию.

И вот теперь кое-кто хочет предъявить обвинение за эту трагедию Генеральному секретарю, хочет любой ценой втянуть его в эту историю. Это тем более подло, что в самой Грузинской республике ситуация непростая. Этому есть много объяснений. Не буду вдаваться в подробности, просто признаем это как факт. Тем более недостойно в такое сложное время разжигать страсти.

— Вы бываете на своей родине?

— В последний раз — и единственный после переезда в Москву — был в Мамати в 1986 году. Заехал на полчаса, постоял над родными могилами, обнял оставшихся там стариков. А когда-то спешил сюда в любое свободное время. Любил возиться с виноградной лозой. Какой грузин без винограда и собственного вина! Но лоза не только вино. Своей неприхотливостью и долговечностью она невольно наводит вас на мысль о жизни, длящейся и после вашего земного срока. Кто-то придет после вас и продолжит уход за лозой, которой вы отдали столько сил и лет. И вспомнит вас добрым словом.

Но теперь не до лозы...

Беседу вел
Леонид ПЛЕШАКОВ.



«ОГОНЕК» ПОД ЗАПРЕТОМ ●
НУЖЕН ЛИ ВРАЧ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ? ●
СКОЛЬКО СТОИТ БЕСПЛАТНОСТЬ? ●

■

После второго Съезда народных депутатов СССР на встречах с избирателями в Западной группе войск я слышал один и тот же вопрос: почему у нас запрещен журнал «Огонек»? Поначалу у меня этот вопрос вызывал некоторое недоверие, сомнения...

Но потом в беседах с офицерами, солдатами, политработниками я выяснил, что существует приказ о том, чтобы в казармах, Ленинских комнатах, солдатских клубах «Огонька» не было. Все денежные средства, выделенные для подписки на этот журнал, переведены для подписки на военные издания.

Ничего конкретного ответить своим избирателям я не мог.

Думаю, что на их вопрос должно дать ответ Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота. Кстати, может быть, и в других войсках теперь «Огонек» под запретом?

К. А. ХАРЧЕНКО,
подполковник,
народный депутат СССР

■

В № 27 за 1989 год напечатано письмо Г. Петрашевского «Плата за бесплатность?», в котором делается вывод: «На зарплату у нас уходит около 5 процентов национального дохода. Это мало, так как у развитых капстран эта величина в десять раз больше, ...если она составит 800—1000 рублей, то люди смогут платить за все. Это будет справедливо». Нас весьма прельстила такая перспектива, поэтому мы проследили за расчетами автора и убедились, что удельный вес зарплаты в национальном доходе оказался у него заниженным в двенадцать раз.

И все-таки уж больно соблазнительно выглядит искомая тысяча в месяц. Приходится поэтому охладить пыл: в 1988 году величина фонда потребления в национальном доходе равнялась 466 миллиардам, что в расчете на одного занятого в народном хозяйстве составляет около 300 рублей в месяц.

Разбивая голубую мечту Г. Петрашевского, нам хотелось бы заверить, что поднятая им проблема представляется весьма важной. Действительно, мы должны научиться считать, сколько и за что платим и «почем стоит» наша «бесплатность». В частности, Г. Петрашевский совершенно прав, когда сетует на то, что нам колют глаза госдотациями на продовольствие, которые в том же 1988 году составили около 75 млрд. рублей. Но откуда они берутся?

В 1988 году сумма налога с оборота, то есть надбавка к ценам предприятий, достигла 101 миллиарда. По сути, это косвенные налоги, взимаемые государством с населения. Если сопоставить их величину с суммой дотаций государства на продовольствие, то хочется спросить: кто кого дотирует?

И консерваторы, и реформаторы убеждают нас в необходимости ликвидации госдотаций. Убеждают настолько рьяно, что, как говорит М. Жванецкий, мы уже согласны. Правда, хотелось бы надеяться на то, что, как нам обещано, наш жизненный уровень от этого не снизится.

Если верить данным о сумме госдотаций на продовольствие, то в расчете на одного занятого в народном хозяйстве приходится 47 рублей в месяц. Увидим ли мы эту сумму в качестве компенсации при реформе цен?

Идея ликвидации госдотаций на продовольствие содержит в себе скрытое предложение повысить на него цены. Но мы хотим надеяться, что свои 47 рублей работник получит обратно. Подобная реформа цен — дело непростое. И если все мы как потребители не проявим бдительности, то баланс будет сведен отнюдь не в нашу пользу.

С. ВАСИН,
В. ЛИХОДЕЙ
Киев

■

С 1986 года началось поэтапное повышение зарплаты медработникам. Сначала оклады увеличили врачам-хирургам, в стационарах, а затем главным врачам, их заместителям, зав. отделениями.

Основная же масса лечащих врачей получает 110—140 рублей уже более 20 лет. Повышение для этой категории начнется только в 1992 году.

Увеличив зарплату партийным и советским работникам, ее также повысили руководящему составу горздрава — в 2,5 раза. Еще более интенсивное повышение жалованья получили руководящие работники Минздрава Украины. Все это делается тихо, без огласки. Спрашивается: кто нужнее в здравоохранении — лечащий врач или администратор?

Минздрав СССР издал приказ о переходе на новый хозяйственный механизм. В печати об экспериментах в Ленинграде, Куйбышеве и Кузбассе противоречивые мнения. В первую очередь здесь решают вопрос определения окладов для руководящих работников, чтобы они были независимы от конечного результата. Рядовым же врачам обещают «все, что заработаете от конечного результата», при тех же фондах. А фонды складываются из средств, выделяемых на зарплату, питание, медикаменты, оснащение больниц и т. д.

Чтобы в таких условиях поднять зарплату врача-ординатора, надо увеличить нагрузку, ускорить лечение, экономить на медикаментах, обследовании и т. д. Но увеличить нагрузку нереально. Сократить сроки лечения при низком обеспечении медикаментами, шприцами, системами тоже трудно, а руководители не несут вместе с нами никакой ответственности. Выход один: лечить быстрее и выписывать недолеченных. Но так можно скатиться до «естественного отбора». Конечный результат может сказаться через 5—10 лет в уменьшении продолжительности жизни, увеличении инвалидности. А кто ответит за это?

А. В. ГОРОВЕНКО,
врач
Киев

■

Среди простых людей — как беспартийных, так и партийных — решение верхов о повышении зарплаты партаппарату воспринимается, мягко говоря, без энтузиазма. В самом деле, страна в кризисе, финансы в развале, десятки миллионов людей за чертой бедности, нарастающий товарный голод, инфляция и эмиссия денег, разбалансированность рынка, дефицит бюджета... С одной стороны, вроде бы все брошено на то, чтобы оздоровить экономику, стабилизировать инфляцию, а с другой — «ни в какие ворота» упомянутая мера.

Но это, так сказать, с точки зрения экономики, однако наличествует и другая сторона, куда более важная, морально нравственная, перерастающая в политическую. Нужно ли говорить об уровне престижа партии на фоне внутренних и внешних событий? И вот эта акция трогательной заботы руководства о материальном интересе своего аппарата. Невольно приходит в голову: уж не преднамеренная ли это провокация, имеющая целью посеять в массах раздражение и неприязнь к партии, еще основательнее «раскачать лодку»?

Наконец, кто же, как не аппарат партии, должен служить примером бескорыстия и, если хотите, святой жертвенности в такое трудное для советского общества время?

То и дело слышатся заклинания-призывы строить социализм по Ленину, но что-то никто не вспоминает о партмаксимуме послереволюционных и двадцатых годов. Кстати, этому понятию даже в энциклопедических словарях давно не находится места. Понятно, о ленинской скромности и заикаться неудобно.

А. В. САКЕЛЛАРИ,
ветеран войны и труда, член КПСС
Елец Липецкой области

■

Как вы, наверное, знаете, советским гражданам выехать за рубеж стало проще, чем раньше. Было бы желание, приглашение, деньги и здоровье, чтобы выстоять во всех очередях: за визами, за билетами, за валютой.

Случилось так, что мой давний друг, подданный британской короны, проживающий в городе Шеффилде, меня пригласил. И я поехал.

Прожил я у него в доме два с половиной месяца. Использовал свой невостребованный за три года отпуск. Вместе с друзьями моего друга я играл в теннис, предавался застольным беседам, ездил по разным интересным местам, ходил в гости и решил однажды, что долг платежом красен. Как-то раз, когда все собрались вместе, у меня возникла такая идея: «Давайте, леди и джентльмены, ко мне в деревню. Там лес, река, футбольное поле, Саввино-Сторожевский монастырь и русское гостеприимство. Примут как родных». Леди и джентльмены отнеслись к предложению серьезно, немного посовещались и решили в августе 1990 года «делать кемпинг» не во Франции, как было раньше задумано, а в моей деревне под Звенигородом. Они почти все учителя, отпуск у них в августе, и они предпочитают проводить его где-нибудь среди природы, в палатках, своей компанией. Серьезность намерений моих друзей меня отрезвила, но отступать было поздно.

Вернувшись на родину, первым делом пробился к начальнику ОВИРа Московской области, считая, что он-то все и решает. Я объяснил ситуацию и спросил, что нужно делать, чтобы устроить такой «лагерь дружбы». Мне очень хотелось убедить этого начальника в том, что дело это хорошее, нужное. Народная дипломатия, говорил я, венские соглашения, новое мышление, перестройка, все меняется кругом... Говорил вдохновенно и про то, что я там, у них, в Великобритании, мог ездить где угодно. Власти не обращали на меня никакого внимания. А почему, собственно, мы их так опасаемся? Что у нас — государственные секреты повсюду разбросаны? Как-то даже неловко, стыдно даже как-то, что они нас не боятся, а мы их... Ведь мы же открытое общество строим!

«Общество открытое, а Одинцовский район закрытый»,— ответил начальник.

«Но ведь у нас там японцы целый месяц работали, да ведь вы сами понимаете, что не полезут они через колючую проволоку, если и есть она где-нибудь там. А полезут — арестуйте, судите по советским законам!»

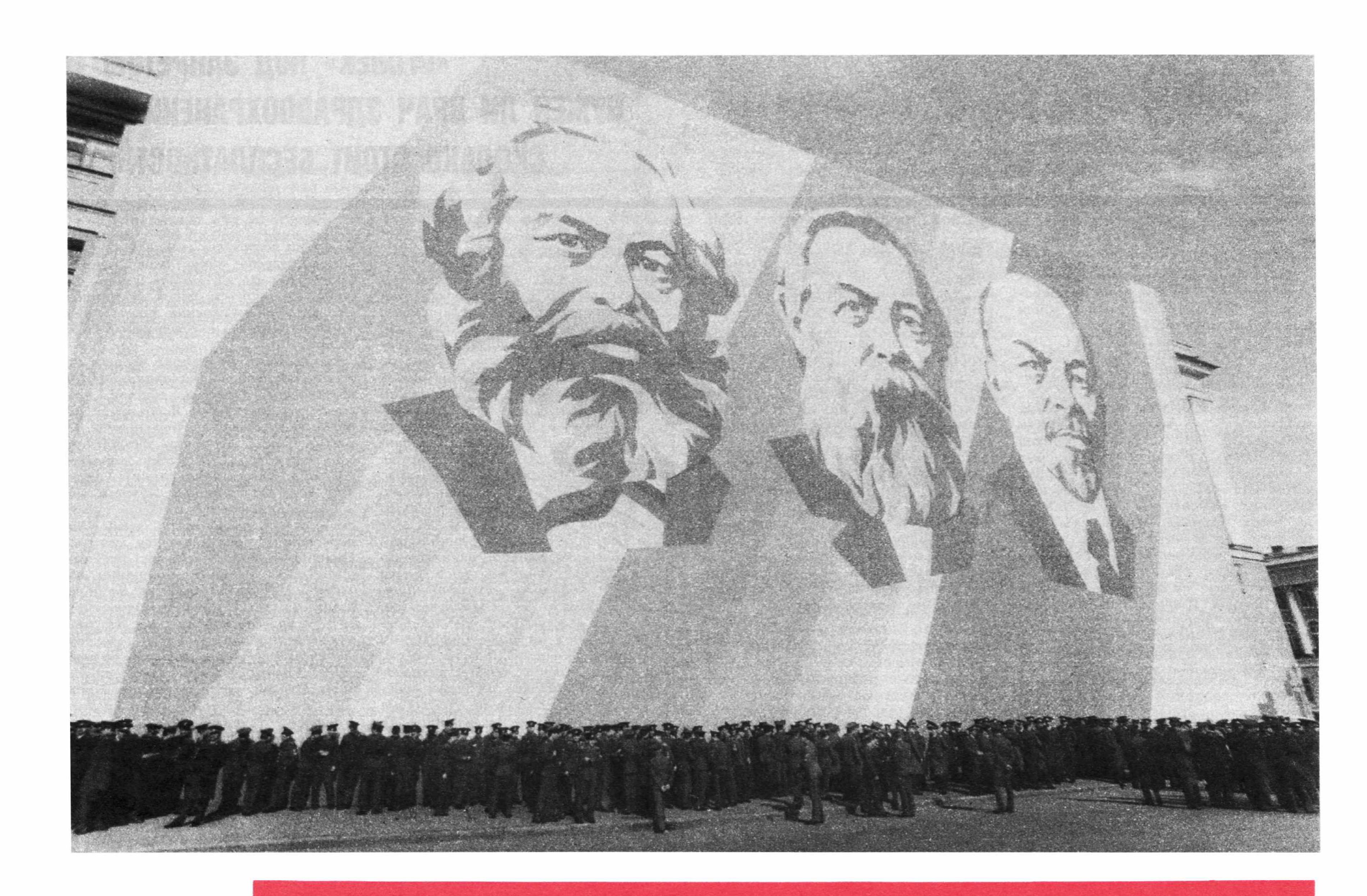
«Следующий пусть заходит»,— сказал начальник.

Такая вот история. Международный скандал. Но не хочется так сразу сдаваться. И, кроме того, у меня создалось впечатление, что начальник ОВИРа в данном случае ничего не решает.

Ходят слухи, что скоро иностранные граждане смогут ездить по всей нашей стране просто вот так, как по всяким другим странам. Хочется в это верить. На помощь я не рассчитываю — чем вы можете помочь? Но хоть посоветуйте, куда писать, где встать с плакатом.

С. ЗАГОРУЙКО,
научный сотрудник Института физики атмосферы АН СССР





ПРОШУ СЛОВА!

ЧЕЛОВЕК ИДЕОЛОГИЗИРОВАННЫЙ

Фазиль ИСКАНДЕР

Что с нами случилось? Почему так кровоточат межнациональные отношения? Почему целые народы, как обезумевшие родители на охваченном паникой корабле, пытаются, схватив своих детей, выпрыгнуть за борт? Отчего такой дефицит? Отчего даже если и удается приобрести нужную вещь, она почти всегда плохо сделана? В ней как бы заложено изначальное стремление к уродству. Почему в метро, в толпе, в очереди так редки хорошие человеческие лица? Кажется, люди, как и вещи, сделанные ими, зачаты наспех, мимоходом и даже с некоторым отвращением. А, может быть, то, что мы делаем, одновременно делает нас? Каким мы сделали окружающий нас мир, таким и он сделал нас? Идеология — вот, на мой взгляд, первопричина всего. Сначала была идеология, и она была бог. В лихорадочном ожидании мировой революции она пронзила все сферы жизни, и всякий продукт духовного или физического труда должен был нести на себе мистический отблеск, знак верности конечной цели. Все! От книги до пуговицы, от электростанции до картошки.

Идеологизированное общество охватывает наступательная паника, и всякий человек в этом обществе, не охваченный ею, мгновенно угадывается и угадывается как враг. Однако вовремя поняв, что ему угрожает, он может успеть спастись, придав своему ужасу выражение идеологического восторга. Ужас и восторг — психологически близкие понятия. А тот, кто не успел придать лицу выражение идеологического восторга или тем более попытался остановить наступательную панику, затаптывается толпой со злорадным наслаждением.

Почему всякое идеологизированное общество столь невероятно жестоко? Потому что идеологизированный человек отдает идеологии тайну своей жизни, свою истинную ценность, свою нравственную свободу, свою личность. За

это в будущем ему обещан вход в земной рай, а в настоящем — пустотелая легкость безответственности.

Но даже самый тупой человек, видя или подозревая, что его сосед или сослуживец этого не сделал, испытывает к нему мучительную зависть, переходящую в ненависть. Уродство, став нормой, тут же мстит человеческой норме.

Внешне парадоксально, что в идеологизированном обществе при всех невероятных трудностях существования процент самоубийств гораздо меньше, чем в странах с демократическим режимом. Но если вдуматься, все правильно. Самоубийство — следствие ощущения личного краха. Чтобы ощутить личный крах, надо быть личностью.

Идеологизированный человек при всей своей амбициозности перестает быть личностью ровно настолько, насколько он идеологизирован. Кстати, амбициозность, раздувание личного достоинства как раз есть признак отсутствия личного достоинства. Человек с личным достоинством именно из гордости за реальность этого достоинства испытывает унижение, когда границы его личного достоинства расширяются или сужаются. Ибо в обоих случаях страдает ощущение реальности этого достоинства.

Идеологизированный человек не может сказать: а что моя совесть при свете вечности? Такой вопрос просто не возникает, потому что личная совесть отдана идеологии, а вечность отменена. Ее заменяет мессианский финиш идеологической цели.

У идеологизированного человека нравственное чувство постепенно атрофируется, оно полностью или почти полностью заменяется соображениями целесообразности по отношению к конечной цели.

Поэтому идеологизированный человек динамичен, он склонен принимать грандиозные решения, например, строительство небывалых электростанций, невероятной длины каналов, повороты рек и тому подобное. Ему нужны наглядные вехи нешуточности конечной цели.

Пока идеология сильна, идеологизированного человека невозможно поймать за руку. Даже если и найдется смельчак, который с карандашом в руке возьмется доказывать, что эта грандиозная электростанция не окупает себя, тот ему ответит, что вы, мол, не учитываете ее более важного пропагандистского значения.

По этому поводу забавный случай рассказывал академик Алиханьян. Когда задумывали или начинали строить первую атомную электростанцию, его вызвал к себе тогдашний председатель Госплана Вознесенский.

— Насколько атомная электростанция выгодней гидроэлектростанций? — спросил у него Вознесенский.

— Это невозможно определить,— ответил ему Алиханьян.

— Почему? — спросил Вознесенский.

— Потому что у нас цену на электричество определяет не рынок, а государство,— ответил Алиханьян.

Вдруг Вознесенский встал из-за стола и поцеловал его. Как можно понять эту сцену? Неужели председатель Госплана СССР не знал, что у нас цены назначаются? Конечно, знал и даже догадывался о глубочайшей ненормальности этого явления. Но назначение цен государством, видимо, входило в принципы социализма. Идеология. Тут сомневаться никому не дано. Видимо, Вознесенский сомневался в правильности принципа назначения цен государством, но поделиться своими сомнениями ни с кем не мог. И вдруг академик простодушно подтверждает правильность его сомнений. Не потому ли Вознесенский впоследствии погиб, что пытался уже на другом уровне внести хотя бы крохи здравого смысла в экономическую политику? Не исключено.

В идеологизированном обществе чем ближе человек находится к вершине власти, то есть к источнику идеологической радиации, тем труднее проявить гибкость и вовремя отменить неправильное решение. Клюв идеологии всегда точно попадает, когда бьет по голове сограждан и никогда не попадает в зерно истины.

Однажды этот клюв чуть не опустился на мою голову. Дело было в сталинские времена. Будучи любопытствующим студентом, на семинаре по марксизму я спросил у преподавателя:

— Почему в философском словаре написано, что «Краткий курс» — гениальное произведение товарища Сталина, а в «Кратком курсе» говорится, что под водительством Сталина партия идет от победы к победе? Не мог же товарищ Сталин сам себя хвалить?

Аудитория притихла. Преподаватель онемел. Я вдруг почувствовал, что нарушил какое-то страшное табу. Но тут прозвенел звонок. После перерыва семинар должен был продолжиться. Что же он мне ответит? Преподаватель сделал самое умное из всего, что можно было сделать. Он продолжил семинар так, как будто моего вопроса вообще не было. Ни я, ни аудитория не напомнили ему об этом. Так и пронесло. Видимо, сам он на меня не донес, то ли из порядочности, то ли из боязни за себя: кого воспитал? А в аудитории в этот исторический момент не нашлось стукача.

Собственно, чего я добивался своим вопросом? Мучительное желание юности поверить идеологии, но только честно. Вот какие-то дураки приписали товарищу Сталину чужую книгу и, в сущности, выставили его хвастуном. Теперь это смешно, но в тот миг подсознательно казалось: вот сейчас это противоречие разумно объяснится и станет понятно. что и все остальные противоречия — случайный мусор на чистом замысле идеологии.

В идеологизированном обществе всякий сомневающийся человек болезненно переносит свои сомнения, свое сиротство в собственной стране. Сомнениями практически никто не делится, зато как грандиозны карнавалы единства! Это подавляет. Конечно, зрелый, сильный, проницательный человек берет на себя эту драму одиночества. Но сомневающаяся юность страшно страдает от нее. Она то тянется к идеологии, то с брезгливым ужасом отдергивается от нее.

При громогласном признании нашей философией первичности материальных задач почему-то именно материальный мир нам никак не дается. Почему на наших глазах во всех сферах жизни исчезает мастерство, исчезает мастер?

Предположим, мастер строит дом. Кто определяет стоимость дома? В нормальном обществе рынок и только рынок. И мастер знает, что ничто, кроме его способностей, его опыта, его стараний, вложенных в строительство дома, не определяет его стоимости.

Что же происходит с мастером в идеологизированном обществе? Ценность дома не определяется только качеством выполненной работы, качеством дома как дома. В стоимость дома входит как бы мистический знак верности идеологии. При этом чем сильней в обществе идеологический накал, тем важнее в признаках дома знак верности ему и тем второстепенней признаки дома как дома.

Простейшим знаком идеологической верности может быть обязательство построить дом в два раза быстрей, чем это было принято раньше. Мастеру, понимающему, что в такой срок хороший дом не построить, некуда деться. У него нет работодателя другого типа. Если он открыто заявит о своих сомнениях, его в лучшем случае прогонят, в худшем объявят саботажником.

И вот мастер берется строить этот дом. И, возможно, в первый раз, подхлестываемый искренним энтузиазмом, он его выстроит добросовестно. Но энтузиазм не может долго подхлестывать человека. Во всякой работе существуют естественные ритмы. Сравнительно долгое нарушение их приводит к надрыву, к депрессии.

Что же делать? Человек — существо приспособляющееся. Укладываясь в сроки, сохраняя соответствие идеологической дисциплине, он начинает снижать качество труда.

Но что он говорит своей совести мастера? Такие, мол, сроки, ничего не поделаешь. К тому же прислали никуда не годный кирпич. Последнее вполне может соответствовать действительности: тот, кто обжигал кирпич, идеологизировался несколько раньше.

Но как бы мастер себя ни оправдывал, в глубине души он чувствует недовольство собой. Для всякого нерастленного человека противоестественно работать ниже своих возможностей. Начинается потеря самоуважения, распад личности. Скрежет внутренней дисгармонии приглушается водкой.

Общество, теряя мастера, теряет в тысячу раз больше, чем получает от этого досрочно выстроенного дома. Но на первых порах это малозаметно: дом возвышается, землетрясения довольно редки.

Но как работодатель в лице своего приемщика относится к этому дому? Так ведь приемщик сам идеологизирован. Он знает, что мастер досрочно построил дом, и в конечном итоге это идейное достоинство уравновешивает материальные недостатки дома как мелкие, частные.

Ведь новый дом — это не только дом, а в иных случаях даже не столько дом, сколько еще одна победа над старым миром.

Если же приемщик все еще сам мастер своего дела, его ждет та же участь, что и мастера-строителя. Он ничего не может сделать, у него тоже нет работодателя другого типа. Кстати, ненависть современной административно-командной системы к кооперации — это прежде всего боязнь, что появится работодатель другого типа.

Но круг еще не совсем замкнулся. Может быть, запротестует тот, кому жить в этом доме? Нет, не протестует, потому что остро нуждается в квартире.

Идеология держится на дефиците. Она постоянно борется с ним и постоянно порождает его. Попытки решить очередные задачи приводят к очередным очередям. Нэп почти ликвидировал дефицит, за что и сам был ликвидирован, даже если тогдашние идеологи субъективно думали, что делают нечто другое.

Хрущев несколько поднял запущенное сельское хозяйство. С продуктами стало лучше, но идеология захромала. Тогда он принялся бороться с приусадебным хозяйством крестьян. По-видимому, сам он думал, что, если освободить крестьянина от забот о собственной корове, в колхозе будет работать лучше. Он думал, что он сам думает, но за него думала идеология. С продуктами стало похуже, но идеология взбодрилась, тычки ее стали чувствительней.

На определенном этапе наш бывший мастер с известной степенью искренности присоединяется к идеологическому кликушеству. Он интуитивно чувствует, что чем сильней накал идеологии, тем меньше шансов, что его плохая работа будет по достоинству оценена. Да и как построить хороший дом, когда кругом шныряют враги, а вредители то и дело подсовывают сырой, как тесто, кирпич?

В идеологизированном обществе всякая государственная кампания, даже правильная в своей основе, обречена на провал. Почему?

Потому что всякая государственная кампания рассматривается как последнее слово идеологии, и те, кто воплощает ее, должны прежде всего и главным образом проявить пафос верности последнему слову. Особенно же пафос верности необходим, когда последнее слово идеологии противоречит предпоследнему.

А так как границы верности ей точно никто не знает, но все боятся ее переступить, то каждый идеолог с большим запасом усердствует в заданном направлении.

Так было всегда. Так было с кукурузой, которую стали сеять на севере, так было уже в наше время с антиалкогольной кампанией. На юге начали выкорчевывать прекрасные виноградники, плоды многолетних трудов. Что должен был делать мастер-виноградарь, глядя на это варварство? Плюнуть и отвернуться? Господи, сколько раз это повторялось на протяжении нашей жизни, и как об этом скучно сейчас говорить!

Труднее всего поддается идеологизации крестьянство. Именно поэтому идеология подвергла крестьянство самому страшному разгрому. Крестьянин, живущий на своей земле и своей землей, труднее всего поддается идеологизации, то есть социальной утопии, потому что у него в голове проверенная собственным опытом и подтвержденная веками модель жизни. В силу особенностей его труда ему легко обозримы начала и концы существования. Солнце встает на востоке и садится на западе. Земля должна родить, скот должен плодиться. Вершина дерева качается под ветром, но дерево не падает, потому что корни его крепки и неподвижны. Единственная неопределенность — капризы погоды. Поэтому он чаще других поглядывает на небо, как потом, уже раскрестьянившись, после страшных лет коллективизации, будет заглядывать в глаза начальства: что они еще там напридумали?

А пока сам круговорот природы — могучее подтверждение его правоты. Вся жизнь умещается в один год и потом снова повторяется. Прочность ритма. Посеянное весной соберешь осенью. Ожидание не слишком долгое, чтобы извериться, и не слишком короткое, чтобы успеть накопить аппетит. А что такое пятилетка? Почему именно пятилетка? Разве в городе для того, чтобы построить завод или машину, нужно именно пять лет? Всегда пять лет? Непонятно и даже страшно, как марсианское летосчисление.

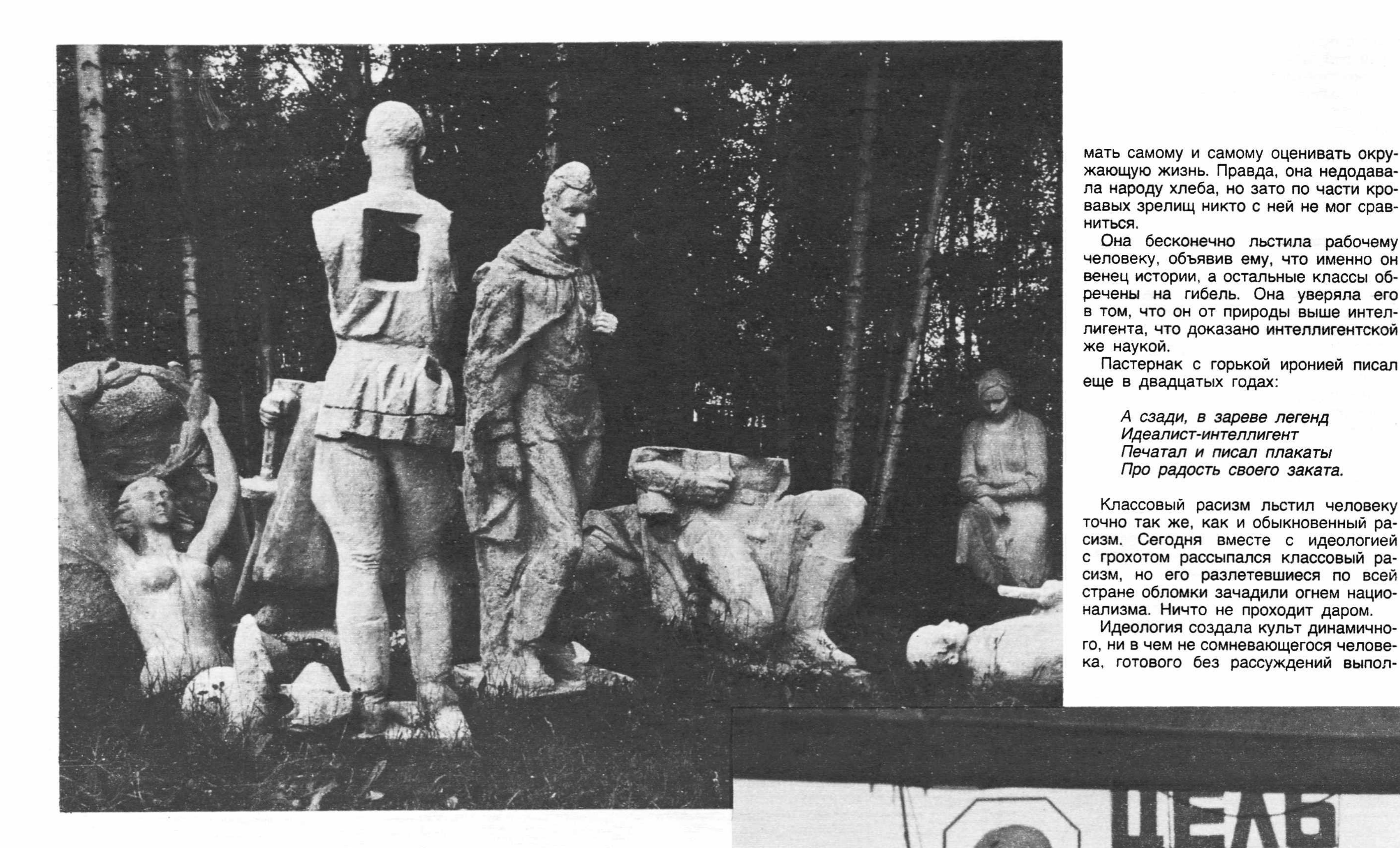
Крестьянин в силу особенностей своей жизни сохранил античный, внеисторический взгляд на жизнь. Если у настоящего крестьянина, пока он еще верит в крестьянскую жизнь, спросить: «Что будет через пятьдесят лет?», он ответит: «Как что? Если будет хорошая погода, будет хороший урожай».

Идеология понимала, что с этой цитаделью естественного, самобытного мышления ей не ужиться на одной земле. Носители идеологии, видя, что крестьянин упорно не хочет идти в колхоз, объяснили себе это его темнотой. Они правильно замечали, что крестьянин часто малограмотен, полон научных предрассудков, например, не знает истинную причину грома во время грозы и по той же якобы причине пока не понимает философию новой жизни. На самом деле крестьянин ее быстрее всех раскусил, понял ее антиприродную сущность.

Получился трагический парадокс. Носители утопической, ничем не связанной с жизнью идеологии боролись до победного конца с носителями истинной философии существования, проверенной веками. Здесь, как и везде, меч победил земляного философа.

А что творческая интеллигенция? Если бы инопланетянин мог следить за нашей литературой, он бы заметил одну странную особенность. У всех крупных советских писателей, принявших идеологию, лучшие книги — первые. А дальше идет с теми или иными колебаниями угасание таланта, так и не достигнувшего творческой зрелости.

И, наоборот, писатели, не принявшие идеологию, при всей трагичности их личной судьбы, от книги к книге, часто не напечатанной при жизни, писали все



лучше и лучше. Таковы Ахматова, Есенин, Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Зощенко.

Но что случается с писателями, которые искренне приняли идеологию? Почему они пишут все хуже и хуже? Первые книги у них были лучшими, потому что в них использовались впечатления, еще не процеженные идеологией или не до конца процеженные.

Настоящий писатель рисует человека на фоне вечности. Сила чувства вечности и есть поэтическая сила таланта. Только на этом фоне нам кажутся убедительными великие, жалкие и смешные страсти человека. В реальном соотношении с вечностью нам раскрывается подлинность человека. Такова коренная особенность искусства. Писатель может сознательно отодвинуть вечность, чтобы показать ужас копошения человека, оторванного от вечности, но он ее не может заменить чем-то другим. В данном случае художественное произведение строится так, что читатель невольно подставляет эту вечность, понимает, чего лишились эти люди и почему они так смешны или страшны.

Идеологизированный писатель как раз и пытается вечность заменить чем-то другим. Он рисует человека на фоне конечной цели идеологии, этой вечности для бедных.

В первом случае писатель старается писать так, чтобы понравиться тому, кто стоит за вечностью.

Идеологизированный писатель старается писать так, чтобы понравиться главному носителю идеологии.

Писатель, пишущий человека на фоне вечности, интуитивно отбирает те жизненные детали, которые достойны вечности.

Писатель, пишущий на фоне конечной цели идеологии, отбирает детали, преимущественно полезные для конечной цели идеологии.

В первом случае — накопление поэтических деталей. Во втором случае — накопление рационалистических деталей, что неизбежно приводит к риторике.

В первом случае — путь от человека к Богу.

Во втором случае — путь от человека умозрительно к более совершенному человеку.

В первом случае — стремление к идеалу не ограничено ничем.

Во втором случае — сам идеал ограничен рамками идеологии.

В конечном итоге идеологизированный писатель, если он был рожден с искрой совести и она в нем не до конца угасла, не может не почувствовать себя обманутым и опустошенным. И опять — водка.

Трагикомизм идеологии, борющейся с капитализмом, заключается в том, что она сама, победив, превращается в идеологический капитализм, где главным источником товарно-денежных отношений является сама идеология.

Вслед за первыми энтузиастами, которые как бы бесплатно раздают идеологию, появляются самые настоящие коммивояжеры идеологии, которые рекламируют ее совсем так, как в буржуазном обществе рекламируют товар.

Среди идеологов вспыхивает конкуренция. Но если капиталисту достаточно разорить своего конкурента, здесь надо заставить его замолчать и желательно навсегда. Как это делалось, мы теперь хорошо знаем. Идеологический капитализм в отличие от обычного абсолютно монополистичен. Конкуренция происходит внутри одной фирмы и, может быть, поэтому столь беспощадна. Каждый выигравший в конкурентной борьбе получает доходы в строгом соответствии с занятым в фирме положением. Доходы строжайше регламентированы. Если одному боссу секретарша приносит чай с лимоном, то боссу, находящемуся этажом ниже, его секретарша приносит тот же чай, но уже без лимона.

И подобно тому, как капиталистическое общество в конечном итоге выигрывает от конкуренции, идеологический капитализм тоже выигрывает от кровавой конкурентной борьбы. С одной стороны, у народа усиливается страх перед идеологией, а с другой стороны, провалы в хозяйственной жизни страны легко объясняются злокозненностью разоблаченных конкурентов.

И подобно тому, как во времена классического капитализма наступал кризис перепроизводства товаров, в идеологизированном обществе рано или поздно наступает кризис перепроизводства идеологии.

У нас он наступил давно. Разоблачение Сталина на двадцатом съезде при всей смелости и благотворности этого акта было последней попыткой спасти идеологию. Позже труп Сталина вынесли из Мавзолея, но похоронили на всякий случай поблизости.

Идеология держалась не только на страхе и ожидании грядущего чуда. Она создала для человека немало тлетворных, но приятных удобств. Она освободила человека от нелегкого труда думать самому и самому оценивать окружающую жизнь. Правда, она недодавала народу хлеба, но зато по части кровавых зрелищ никто с ней не мог сравниться.

Она бесконечно льстила рабочему человеку, объявив ему, что именно он венец истории, а остальные классы обречены на гибель. Она уверяла его в том, что он от природы выше интеллигента, что доказано интеллигентской же наукой.

Пастернак с горькой иронией писал еще в двадцатых годах:

А сзади, в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

Классовый расизм льстил человеку точно так же, как и обыкновенный расизм. Сегодня вместе с идеологией с грохотом рассыпался классовый расизм, но его разлетевшиеся по всей стране обломки зачадили огнем национализма. Ничто не проходит даром.

Идеология создала культ динамичного, ни в чем не сомневающегося человека, готового без рассуждений выполнять любое задание начальства или то, что он принимает за это задание. Благодаря такой социальной эстетике, такому естественному отбору главным человеком во всех сферах жизни стал напористый дурак.

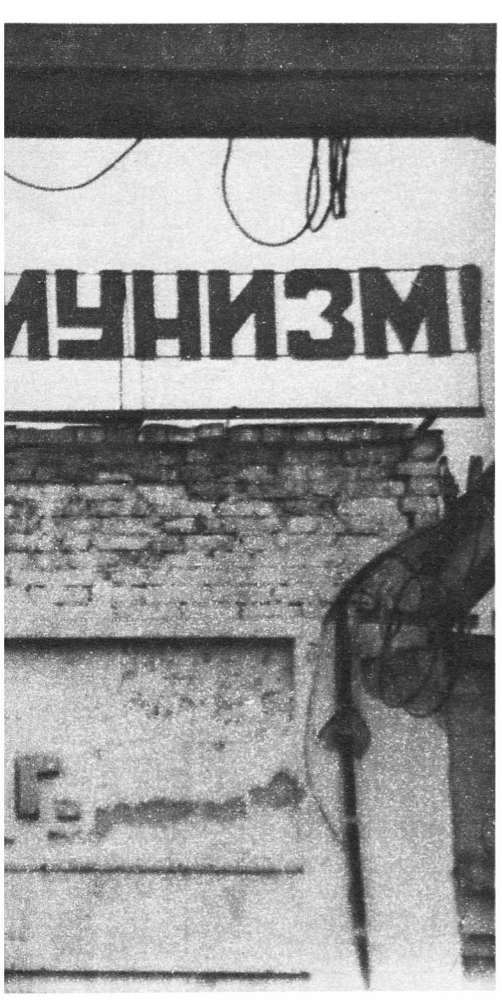
Сегодня, оглядываясь на наш исторический путь, мы с изумлением думаем: как могла идеологическая утопия столько лет править страной? Как она пришла к власти? Неужели наш народ был изначально поражен генетической склонностью верить мессианским мифам?

Нет, конечно. Чтобы идеологическая утопия стала на достаточно большое время привлекательной для достаточно большой части нации, нужны были

Фото Павла ИВАНОВА,
Александра КРЕЙМЕРА
и Андрея ЧЕЖИНА

определенные исторические условия. Нужна была кровавая изнурительная война, разруха, голод, распад старого строя. Страдание, это каждый знает по себе, делает человека достаточно легковерным по отношению к человеку, предлагающему способ выхода из этих страданий. Психически ослабленный человек сравнительно легко подчиняется волевому напору человека, который уверенно объявляет о том, что он знает истину.

Чтобы в стране восторжествовала данная идеология, необходима критическая масса поверивших в идеологию людей. Определить ее можно так. Торжество идеологии возможно в данной стране, когда количество поверивших в идеологию людей способно контролировать мысли и действия всего остального народа. Совсем необязательно, чтобы контролирующих было большинство. Хорошо организованное решительное меньшинство, наводя время от времени вполне зримый ужас на большинство, может управлять им. К ним присоединяются, легко усвоив революционную фразеологию, те люди, которые вообще по природе своей были разрушителями, но их сдерживали старые



законы. А тут сам закон говорит: «Грабь награбленное!» Ну, разумеется, во имя лучшего будущего.

А дальше, слаб человек, многие из колеблющихся присоединяются к боевому меньшинству. Рассуждают они примерно так: «Революционеры, по-видимому, что-то понимают, чего пока не понимаем мы. Иначе они не действовали бы столь уверенно и столь победно».

Эстетика решительности воспринимается психически придавленной террором нацией как этика правоты.

После гражданской войны обещание сытой и справедливой жизни было отодвинуто необходимостью покончить с разрухой. И эта необходимость была естественной и явной. За грохотом восстановительных работ народ не заметил, что в новом обществе тюрьмы строятся быстрее, чем фабрики и дома. Когда заметил, было уже поздно. Он был уже притянут к земле тысячами идеологических нитей, совсем как Гулливер лилипутами.

Ленин при всей своей невероятной тактической гибкости был пламенным мечтателем. С религиозной истовостью он поверил в мессианскую роль рабочего класса на земле. Эта вера, целиком вычитанная из Маркса, никак не соответствовала действительности, по крайней мере России двадцатого века.

Если бы хоть в какой-то мере эта вера соответствовала действительности, рабочий класс России уже в середине двадцатых годов, когда среди вождей революции борьба за власть приняла явный и безобразный характер, ударил бы кулаком по столу: власть моя! Он заставил бы вождей выработать демократический механизм выдвижения руководителей, хотя бы внутри партии. Но ничего такого не произошло. И не могло произойти.

Среди партийцев вкус к власти уже превзошел жажду истины. В голове дымящегося стола, поглаживая усы, уже уселся грозный тамада. Но в крестьянской стране еще оставалось крестьянство, хоть и молчащее, но не поддающееся гипнозу идеологии. Коллективизация была проведена не из ложно понятой экономической целесообразности, как это принято думать, а потому что крестьянство пока оставалось крестьянством, не поддавалось идеологизации. И его сокрушили. Все, что было дальше, хорошо известно.

Сегодня все видят, что идеология потерпела полный крах.

Там, где была идеология, зияет черная дыра. И оттуда веет тревожным космическим холодком. И сейчас неуютно поеживаются не только те, кто привык паразитировать на идеологии, но и те, кто весьма критически к ней относился.

При всей цепенящей глупости правления Брежнева, а точнее, сами грандиозные размеры этой глупости создавали своеобразный психологический эффект нашего отвлечения от себя и даже тайного самодовольства. Народ смотрел на Брежнева и чувствовал себя умней своего правителя. Это создавало некоторое единство народа с интеллигенцией. Интеллигенция научила народ утешаться политическим анекдотом, а народ научил интеллигенцию пить не закусывая.

На сегодняшний день революционная перестройка реально принесла нам хотя еще и не полную, но не слыханную по своей широте с октября семнадцатого года свободу печати. Только гласность, доведенная до абсолютной демократической полноты и законности, гарантия и всех остальных изменений, которые позволят нам взамен идеологической химеры создать правовое государство.

Гибель идеологии, как бы к ней ни относиться,— явление трагическое. Когда лиана, обвивающая дерево и питающаяся его соками, начинает сохнуть, это значит, что у дерева иссякли соки. Сегодня обнажилось со всей ясностью, что народ наш, крученный-перекрученный за годы унижения и лжи, хотя и исхитрился выжить, тяжело болен. Для выздоровления ему нужны правда, хлеб и надежда.

Хватит высокопарного избранничества, хватит галлюцинировать в сторону прекрасного грядущего.

Народ не может и не должен жить дальней целью, ибо дальняя цель всегда служит оправданием ближайшему мошенничеству.

Великие религии тысячелетия назад выработали универсальные истины, необходимые для нормальной жизни: не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай ближнему того, чего не желаешь себе, в поте лица зарабатывай свой хлеб.

Цель государства — регулировать жизнь народа в свете названных и подобных им истин, а не пытаться воплотить в жизнь фантазии того или иного мыслителя. Фантазия одного мыслителя может низвергаться критикой другого мыслителя, государство здесь вообще ни при чем. Попытка создать философское государство привела к тому, что философию отняли у философов и низвели ее до уровня сельского писаря. Иначе и не могло быть.

Культ будущего, ставший религией нашего государства, глубоко унизителен и вреден для человека. Человек рожден, чтобы реализоваться в собственной жизни. Он должен чувствовать себя самодостаточным в своем собственное отпущенное ему природой время. Если в настоящем мы усваиваем мысль, что человек будущего лучше нас уже в силу того, что он человек будущего, то мы в настоящем хуже, чем мы могли быть, ибо стоит ли стараться, если все, что мы делаем, будет другими сделано лучше.

Ошибка всех социальных утопий в утверждении возможности создать такое общество, где торжество добра будет полностью обеспечено самой структурой этого общества и злые силы будут изгнаны из человеческой жизни.

Но этого никогда не будет. Тип социальной системы может облегчить человеку движение к добру или, наоборот, стимулировать в нем злые начала, но конечный и главный выбор всегда остается за человеком.

Так будет всегда, ибо всегда человека будет пытать соблазн. Формы соблазна будут меняться, но суть остается. И поэтому совесть человека никогда не освобождается от субъективных усилий оставаться в рамках добра, от воли к добру, от внутреннего напряжения. Освобождение человека от этой борьбы означало бы его духовную смерть.

Но если состояние совести в человеке главное, то человек во все времена — в прошлом, в настоящем, в будущем — может быть полноценным, и нам совершенно незачем подобострастно смотреть на человека будущего. Дай бог нам сделать свое дело и не перекладывать на него то, что мы обязаны сделать сегодня.

Жизнь — творчество. И крестьянин, работающий на своем поле, и художник, пишущий картину, стремятся самоосуществиться как человеческая личность. Сделать как можно больше и как можно лучше — в самой природе творчества. Стремление к изобилию — в природе человека. Только сделав больше, чем ему надо, человек до конца уверяется в том, что он сделал столько, сколько ему надо. Как говорят, от души.

Излишек, изобилие есть полнота признака творчества, его игра и, что еще важнее, его свобода. Без свободы нет творчества. И поэтому работа крестьянина под идеологическим оком бригадира или работа художника под идеологическим оком цензуры, переставая быть свободной, перестает быть творческой. Такая работа угнетает, и уже сам угнетенный работник старается всякими хитрыми способами формализовать ее и довести до убогого минимума.

Нетрудно заметить, что в идеологизированном обществе все более или менее крупные таланты входят в трагическое противоречие с идеологией. Даже те, которые субъективно, казалось бы, согласны с ней примириться.

Конечно, можно сказать, что талантливые люди независимы, а идеология требует покорности. Это верно, но главное, мне кажется, не в этом.

Совершенство таланта самим своим существованием бросает скептическую тень на долгий идеологический путь развития человека. Талантливый человек потому и талантливый, что он уже самоосуществился как личность и сделал это без помощи идеологии. Зачем Шаляпину ждать коммунизм? Неужели, даже если он и дождется его, он будет петь лучше? Как-то слишком ясно, что он не будет петь лучше. Как-то слишком ясно, что он достиг своего совершенства каким-то другим и притом более коротким путем.

А это идеологии обидно. И обидно, и опасно. Люди догадываются, что есть другой, более плодотворный путь для развития таланта. Оказывается, без собраний, без пятилеток, без пропаганды одаренный человек может сам совершенствовать свой дар. Тогда зачем путь, указанный идеологией?

Мне могут возразить, что он был рассчитан на миллионы простых людей, а не таланты. На самом деле и с «простыми» людьми все обстоит точно так же. В каждом нормальном человеке есть крупица одаренности, и принцип самоосуществления такой человеческой личности тот же, что и у ярко одаренной. Разве во время короткого нэпа мало было прекрасных крестьянских хозяйств, которые расцвели за несколько лет свободы? Идеология должна была расправиться и с Шаляпиным, и с одаренным крестьянином, потому что, самоосуществившись, они портили ей песню, указывали другой путь, более человечный.

Разве теперь не ясно, что величие, красота, счастье, достаток человека не только не требуют долгого идеологического пути, но, наоборот, всегда на этом пути гибнут?

Я уже говорил, что идеологизация приводит ко всеобщему падению мастерства. На известном этапе развития общества, когда уже в идеологию мало кто верит, но еще боятся, происходит молчаливый договор между идеологией и народом. Народ делает вид, что не замечает явных противоречий идеологии, а носители идеологии делают вид, что не замечают всеобщей трудовой недобросовестности. Халтура, блат и воровство правят страной. Деградация народа принимает неслыханные масштабы.

Видимо, человек и вещь, созданная его руками, находятся между собой в таинственных, глубоких, интимных отношениях. Вещь, сделанная мастером, обогащает его ровно настолько, насколько он вложил в нее душу. Хорошо сделав свое дело, человек доволен собой, весел, доброжелателен, смело смотрит в будущее.

И, наоборот, человек, создающий уродливые вещи, дичает, озлобляется, ненавидит себя и окружающий мир. На нем грех и проклятие изуродованной вещи.

Мир, который мы сейчас пытаемся строить на обломках идеологии, должен быть обыкновенным человеческим миром, где нет места жестокой и слабоумной гордыне первопроходцев. Это нормальный мир, которым живет цивилизованное человечество, омываемое как теплыми, так и холодными морями. Отречение от идеологизации не должно превращаться в новый вид идеологизации, в новую ненависть.

Надо создать условия для возрождения мастера, и мастер, возрождая себя, возродит страну. Пусть никто не унизит его указующим перстом или рабской оплатой труда. И пальцы мастера затоскуют по глине, и глина затоскует по сильным пальцам мастера. Пусть он лепит что хочет, и он в конце концов вылепит человеческий облик страны. Я верю в мастера.


03
ПОМОЩЬ
ПРИЕ
ОТДЕЛ
ПСИХИАТР
БОЛЬНИЦ

БЫЛА ЗИМА...

Александр ТЕРЕХОВ

Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА



ВДОХ

«Вы санитаром хотите проехать? Санитаров мы берем поздоровей. Тут у нас гантели, штанга, курсы самозащиты: как себе ничего не сломать. И пациенту тоже. А то пришли с тремя милиционерами брать мужика. А он — шкаф, килограммов так под сто двадцать, бредовый, ненависть к белым халатам. Постояли. Он как через три мундира сунул в лоб нашему санитару! Стали ломать и вязать, санитар в аффекте схватил локтем шею в «хомут» — переусердствовал, сломал хрящ — больной помер. Судили санитара. Так вот. Когда больного надо фиксировать, в бригаду летят и вазы, и телевизоры».

«Зашел к нему, начал беседовать. А у него шашка на ковре висела — никто и не углядел. Он как схватил ее, выхватил из ножен и машет ей: вжик! вжик! — я так и остался сидеть за столом с умным видом. Думаю: сейчас покатится моя голова. Доктору Балабанову бабка вон топором по лбу въехала».

Вызывает муж к жене. Вместе пили, а она чертиков на стене ловит. В квартире грязища, тараканы войсками ходят. Берем жену. Муж ворчит: нет моих больше сил. Проводил нас до лифта и доктора окликнул: вы мимо милиции поедете? Тогда скажите заодно, чтобы наряд милиции прислали, а то тут у меня в спальне кто-то частушки поет: я уснуть не могу. Доктор сходил в спальню и вздохнул: «Да... Ну. тогда собирайся и ты».

«Наша 36-я подстанция — единственная в Союзе служба скорой психиатрической помощи».

ДЕНЬ

Если пройти весь этот длинный коридор мимо людей, громыхающих кастрюлями, сухо клацающих домино, разложивших пасьянс, утопающих в фуфайках и сне на клавишах больничных лежаков, завороженных пушистой прорубью телевизора, и подойти к туманному окну, можно увидеть синеватое, подсвеченное солнцем тяжелое небо — это зима, во дворе хоровод всплеснувших ветвями заледеневших деревьев в колючей щетине изморози — и все сковано.

По коридору — голос диспетчера, нам на выезд. Середина зимы.

— Так, халатик одели, ага? Пальто тоже — это наше, спецодежда. Пальто — единственное средство защиты. Ну все? Девятая бригада — выезд! Вася, поехали.

— Чего у нас там? — кряхтит Вася, забираясь, как на печку, в «рафик» — одной рукой за рычаг, второй — за «Улицы Москвы».

Я в черном пальто, плечистом, как флакон «Шипра», похож на киногероя пятидесятых; бухнув дверью, размещают свои основания на креслицах два санитара: в кепке и без; мы уже трогаемся, качнувшись согласно вперед, и доктор Сычужников кричит мне сквозь мотор:

— Утро — это пик. Родные с больным ночь промучаются, а больше нет сил.

Доктор Сычужников: под сорок, курносый, с несерьезным, «завей ветер» чубчиком, спрятал толстые кулаки в раздувшиеся карманы халата, смотрит насупившись в кузов впереди следующей грузовой машине, которая перемещает по известному ей маршруту скромную утварь переезжающего семейства: то ли счастье улыбнулось задолго до заветного двухтысячного, то ли нужда гонит — в кузове зеркало, и в нем отразилась полоска неба цвета сухого асфальта.

— Куда, Дмитрич? — хрипит ему лысоватый санитар Горелов, трогая пальцем острый утиный нос. Вторая его рука поправляет в нагрудном кармане моток парашютной стропы — «вязку», перетянутую резинкой от бигудей. Выяснив, Горелов поворачивается ко мне:

— В милицию. Товарищ один допился. К такому же приехали: он в стене во-от такую дыру выдолбил. Я ему говорю: ты что, милый? Это не есть правильно, зачем? А он пояснил: я товарищей пригласил; войдут они через дверь, а как выйдут? Ха-ха...

Санитар Котовский сваливает на затылок кепку, открывая горбоносое, смуглое лицо — он такой длинный, что голова постоянно клонится вниз, как шляпка перезрелого подсолнуха,— он мрачно смотрит на Горелова, похожий на больного попугая.

Отделение милиции с кисловатым запахом — здравствуйте, здрасти — дежурный зевает шире окошка, за которым сидит.

— Не появляется больше мужик, что в платье ходил? — бубнит на ходу доктор Сычужников.— Нет?

Нам доставляют худощавого паренька в приличном костюмчике, с аккуратно расчесанными кудрями. Паренек озирается по сторонам, будто стены пылают синим пламенем, пора сматываться, а не вести беседы.

— «Три дня пил. Не спит. Ловит в постели мышей и чертиков»,— зачитывает сержант.— Это мать пишет. А зашибает он будь здоров сколько.

— Как зовут? — быстро спрашивает Сычужников, санитары располагаются за спиной паренька: Горелов ухмыляясь, Котовский с отвращением.— Дмитрий? Слесарь, говоришь... И где мы, Дмитрий, сейчас?

— Как где? Дома у матери,— поводит рукой слесарь.— Мы ремонт недавно тут...

— Ага. А ну-ка прочти нам громко, что вот тут про тебя написали,— доктор сует под нос Дмитрию чистую сторону заявления.

Исследуемый мученически склоняется вперед, переставая моргать, глаза его с усилием шевелятся, подрагивая ресницами, будто на листе бумаги что-то плавает, складываясь в причудливые узоры.

Милицейский сержант выпучивается на лист с похожим выражением, громко сопя.

— Вроде «шэ» предпоследнее,— говорит наконец Дмитрий.— А больше не разберешь. Нечетко написано.

Котовский, словно испытывая неодолимое желание сплюнуть, отходит к окну, еще больше сгорбившись.

— Ясный веник,— мычит Сычужников и смотрит на Горелова.— Ага.

— Сейчас съездим на экспертизу,— с веселой мечтательностью объясняет слесарю Горелов и выгребает его карманы.— Сигареты «Полет» — одна пачка, автобусные талоны, две связки ключей... Двадцать шесть копеек денег, два лотерейных билета. Диктую номера.

Слесаря Дмитрия подхватывают под руки.

Машина катит по размокшей дороге, распуская усатые брызги, никто не смотрит клиенту в лицо, санитары косятся по окнам, равнодушно придерживая обмякшие локти привычной многолетней хваткой, доктор Сычужников, раздраженно отвесив нижнюю губу, растолковывает мне что-то, и я понимаю лишь частями, будто ветер доносит рваные страницы давно прочитанной книги:

— Кооперативы что... они приезжают купировать запой, вколют ему букет целый, а у него наутро — острейший алкогольный психоз. А они свои шестьдесят рублей получили — и привет... Семейки теперь ведь какие пошли — жена шизофреник, муж олигофрен, сын олигофрен... Нам компьютеры нужны, самостоятельность!

Зима, когда в середине, это такая скука! Одно и то же: заплетающиеся шаги, огромная ночь и заснеженные подоконники, усталые лица и мертвые птицы.

— Приехали!

Больница имени Кащенко: пашет цветной телевизор и немо перемещаются рыбки в рыжеватом аквариумном мирке.

— Санаторий, а не дурдом,— восклицает дежурная сестра, принимающая нашего слесаря.— И что за день: везут и везут.

Я смотрю клетку с попугаями: там скачут, машут хвостами, общаются. За моей спиной тормозит пожилой фельдшер и поясняет:

— У попугаев тута как в коммуне. Квартирной. Один яйцо отложит, другой немедленно залетит и выбросит — разобьет. Не терпят они этого.

Меня зовут — пора, мы уходим в белесую мглу зимнего полдня.

После машины — дрожащего пола и низкого потолка — хочется земли и неба, и я торчу на крыльце станции: зима вдруг обмякла, словно накануне тепла, в предчувствии проталин мохнатыми крестами проносятся похудевшие горбоносые вороны в серых передниках и, ломко цокая лапами, переступают по заснеженным крышам краснокрестных машин, а мне бибикают, мы опять едем — девятая бригада на выезд, никто не успел пообедать, и огорченный Горелов ворчит:

— Три здоровых мужика, четыре, извините, едем к семилетнему ребенку! Раньше по заду шлепнут, вот тебе и вся психотерапия! Тут и без этого после указа работать не дают. Это есть глупый шутка. Кто хоть этот указ писал, а, доктор?

Сычужников конкретно отвечает:

— Хрен его знает. Я до указа в Приемной Президиума Верховного Совета в штатском сидел. Референт посетителя послушает, почешет затылок и скажет: знаете, товарищ, надо вам пройти в комнату такую, там вас выслушает старший референт. Я с ним пообщаюсь. Хорошо, говорю, вы тут подождите, я пойду в ваш обком звякну. Потом подъезжает черная «Волга», выходят ребятки: это кто тут к Леониду Ильичу? Поедемте за пропуском. И поехали. А вот теперь психиатр представиться обязан, и товарища должны предупредить: хотим, чтобы с вами врач поговорил. И кто ко мне пойдет по желанию? Теперь в приемной и взвыли! Кому стулом по голове стукнули, кому телефоном. А я говорю: указ-то вы писали, вы и расхлебывайте.

— А ведь наши клиенты — с самого дна, процентов восемьдесят «бомжей» психически больны, а слабоумные старушки? Мы их даже госпитализировать по социальным показаниям не можем, чтобы за ними в стационаре хоть поухаживали,— доктор Сычужников махнул рукой, он не желает больше говорить про указ, наша машина едет по заснеженной дороге, пятая зима свободы.

— Так ведь,— очень умно говорю я,— указ принимался, чтобы инакомыслящих не хватали. Ведь... было?

— А мы тут при чем? — взрывается Сычужников.— Вызывают меня в отделение милиции. Схватили человека у посольства США. Поговорите с ним. Слушаю: уволили с работы, жить негде, отовсюду пинают. Безысходное у мужика положение. Помочь ему надо. Ко мне спускается товарищ в штатском: мы бы вам советовали его госпитализировать. Я говорю: нет, нет для этого показаний. Он мне: вы можете ошибаться. В больнице верней разберутся. Я уперся, а мне опять: как вас зовут, кем вы работаете, для вас это может кончиться очень плохо. Ну, не взял я того мужика, но ведь другие взяли бы. И действительно ошибиться можно, с налету не определишь...

— Слышь, Котовский,— Горелов весь расплылся в нахлынувшем воспоминании,— помнишь, студента как хотели брать?

— К Сахарову в Москву ехал парень,— подтверждает Котовский, и его неподвижные глаза на миг оживают неясным движением.— На шестом курсе был. Почти молодой специалист.

— Его еще такой топтун вел, весь рыжий. И веснушки, вот как сейчас помню, и упустил его. Студент до площади добрался и плакат на грудь вывесил: ленинские какие-то высказывания, но как-то хитро подобранные, что вроде и против того, что было. Его еще майор Кукушкин допрашивал.

— Как минимум подполковник,— кратко добавляет Котовский.— Он с генералом был на «ты».

— Мы приехали, ему объявили: приехали психиатры, повторите показания. Парень повторил, про безобразия в своей области, откуда ехал. Ему говорят: очень хорошо. Ну, а за каким ты к Сахарову ехал? Знаешь, как ответил: чтобы знать, как против вас бороться! Кукушкин шепчет доктору: надо госпитализировать. Хоть на три дня. Доктор: нет. А что я скажу генералу? А нас это, хе-хе, знобит?

— Бабушка, этот дом шестой? — высовывается из машины Котовский, приведя в мгновенное оцепенение одинокую старушку на обочине.

Мы выгружаемся, санитары ящик с лекарствами не берут — руки должны быть свободны, лифт крохотный, как спичечный коробок, и Котовскому придется подыматься на своих двоих, он будто уже изначально был уверен в своей незавидной доле, безмолвно скрывается за лестничным пролетом, а мы ползем вверх, притиснутые друг к другу, как связка гранат.

— Дом не перепутали? — блеснул глазами Горелов и обтер ладонью открытый лоб.— Раз вот диспетчер перепутала корпуса: сильно возбужденный больной, заперся в квартире, не открывает, грозит. Примчались — шесть утра! — звоним раз, второй раз, с усилием. Дверь распахнулась, нарисовался мужик в трусах, только глянул на бригаду и уже заорал: «Ах, чтоб вас тут, хулиганы прокля...» — и все, это он только и успел сказать: хвать за руки-ноги, шею в захват, на ноги вязку и потащили вниз, он только и успел прохрипеть: «Дочка, на помощь!» Только во дворе ошибка и выяснилась. Очень, ха-ха, извинялись.

Под искомой дверью ожидаем Котовского, но он уже снизу бурчит повелительно:

— Звоните.

И мы звоним. Дверь открывается — первой из нее робко высовывается пестрая болонка, тычась кудлатой головякой по нашим ботинкам и изредка вскидывая на нас по-детски испуганные глаза сквозь буйную шевелюру нечесаного рокера.

— А я думал: будет один,— делится своими мыслями местный папа, выявившийся в дверном проеме.

— По одному сантехники ходят, а мы «Скорая»,— веско чеканит Горелов, и мы неторопливой колонной просачиваемся в квартиру.

В комнате давно усохшие астры на столике, ковры и еще ковры, санитары усаживаются за стол плечом к плечу, как в солдатской столовой.

В соседней комнате неясный топот и детские крики. К нам вошла мать с побелевшим лицом, пронзительно глянув на немного сникшего мужа. Она прикрыла за собой плотно дверь.

— Ну? — качнул головой Сычужников.— Что случилось?

Мать говорит с паузами, в паузах ее руки что-то поворачивают в воздухе, откручивают, меняют местами, опять завинчивают, встряхивают.

— Девочка наша... Маша... Школа с математическим уклоном... Почти отличница... Всегда обидчивая какая-то... Что не по ней, падает, кричит: ты не папа, ты не мама... Сказала: вижу черта... Жить, сказала, не хочу... Пойду возьму таблетки и отравлюсь.

Сычужников монотонно спрашивает про внутричерепное давление, утомляемость, сон, родовые травмы, глазное дно, Горелов критически оглядывает отца.

В комнату протискивается бабушка, кусает нижнюю дряблую губу и добавляет:

— Прямо катается по кровати.— И она пальцами зажимает губы.

— Ну, давайте посмотрим,— вздыхает Сычужников, и стул под ним мученически крякает.

Мама вслед за бабушкой ныряет в коридор, доносятся трогательные упрашивания, легкий топот проносится мимо, и клацает шпингалет.

— Закрылась в туалете,— объявляет бабушкина голова, проснувшись в комнату.

Сычужников шагает из комнаты, я застреваю в дверях.

— Открой нам, Машенька,— причитает мама, гладя белую краску двери, Сычужников отодвигает ее в сторону и трубит:

— Маша, не надо бояться. Вот скажи нам: сколько тебе лет?

— Семьдесят! Иди отсюда!

С октябрятской звездочки, нацепленной на коротенькую школьную форму, на меня смотрит кудрявый Ильич, я трогаю разноцветные буквы магнитной азбуки и возвращаюсь на свой стул в комнату, из коридора доносится скучный бас Сычужникова:

— А вкусовые качества пищи не изменились последнее время, а, Маша? А нет болей в области...

Горелов тычет пальцем в сторону замершего отца:

— Тут вот вся психотерапия висит на поясе — ремень!

Грохает дверь, действие переносится на кухню.

— Самый лучший выход из этого: две пощечины! — твердо произносит Котовский. Он даже здесь не снял своей кепки и смотрит все время в окно, где красногрудая пролетарская птица снегирь терзает вывешенную за форточку авоську, порой подозрительно оглядывая нашу компанию.

Стоны на кухне поутихли, заходит, упрятав кулаки в карманы Сычужников и поворачивается к по-прежнему ошарашенной маме, бегающей за ним как хвостик:

— Стационировать смысла нет. Психоневрологу, конечно, надо показаться. Но вообще глаза у нее хитрющие. Когда смотришь на нее, глазки закатывает, ногами дергает, стоит отвернуться: уже подсматривает, что я делаю. Привыкла она, что вы так перед ней... Лучший способ: не обращать на это внимания.

На кухне что-то опять валится на пол, и бабушка истошно кричит, что Машенька потеряла сознание, и мама бросается на кухню, а Сычужников с непонятной гримасой смотрит на понурого отца и наконец отчетливо говорит:

— Из вас веревки вьют.

— Так ведь она падает...

— Когда человек падает — он падает. Он идет и — хлоп затылком об землю, а когда он по заборчику сползает и еще подсматривает, он не падает, это концерт. Поехали!

Мы выбираемся в коридор.

— Уже неделю не ест,— жалобно говорит бабушка.— Только соки и пирожные.

— Все правильно,— оживляется Котовский.— Так и надо. Только пирожные, никаких каш. И деньги ей все отдайте, пусть она их вам выдает.

С пронзительным ревом Машенька вырывается из комнаты и запускает в нас ложечкой для обуви, и мы уходим, оставляя двух наперебой хлопочущих женщин, похожих как две капли с тридцатилетним интервалом, неприметного отца и пеструю болонку, сфинксом сидящую в углу.

В лифте Горелов пыхтит:

— А при созревании вообще такой стервой станет. И ведь выйдет замуж, и муж у нее повесится!

Забираемся в машину, и Горелов восклицает:

— Бедный мужик и несчастный, это есть трагичный судьба.

— Не такой уж он и бедный,— недовольно покрутил головой Котовский.— Что хотел, то и получил. Самый лучший способ: две пощечины. Вот на Сретенке мужик припадок выдал, даже судороги. Толпа и две «скорые помощи»: девчонки сходят с ума — колют, а ему все не лучше. Бабки чай несут и пожрать. А это наркоман. У него ломка, ему бы наркотик. Я подошел, в глаз пальцем ткнул — он зажмурился, значит, реагирует. Две пощечины врезал — он уже на ноги вскочил. Орет: «Ты что, козел?!» Вот и вылечил.

— А ему бы уколоться и залечь на дно колодца,— хохотнул Горелов.— Надо бы курить купить, сбегай, доктор, ты ж в халате.

Обедаем в пельменной. Пресные пельмени и черствые булочки, хрипло кашляет кассовый аппарат. К вечеру на

улице метет, люди в очереди смахивают с шапок снег — молчим. Один Горелов успевает говорить:

— Мы ведь кто? Пожарные, спецназ! Только в первый день работы Съезда народных депутатов десять человек с Красной площади сняли. А ведь душа-то болит. Это ведь не аппендицит резать. Забираем мать, а у нее дети — как начинает причитать, эх,— Горелов идет за добавкой, а Котовский признается мне:

— Дома никто не знает, где работаю. Зачем?

Метет уже вовсю, и куда мы едем, ведает лишь шофер, и все одинаково: темные толпы у остановок, важные, как беременные бабы, постовые, костлявые шеренги деревьев и машинное текучее стадо — куда...

Я просыпаюсь от того, что Сычужников ругается: в новостройках не сыщешь ни улиц, ни домов; наконец мы находим среди одинаковых, как пчелиные соты, домов свой — идем.

На этаже у мусоропровода покуривает мужчина, из-под расстегнутой рубашки — майка, под глазами синеватые мазки бессонницы, он показывает: там налево, открыто. У порога молодая женщина — проходите, сюда...

На диване, наспех застеленном одеялом, разметав черные волосы, выставив отекшие, слабо поблескивающие ноги из-под черного, траурного платья, лежит пластом пожилая женщина. Указательными пальцами она сдерживает рот — чтобы молчать.

Горелов быстро подходит к окну.

— Как зовут?

— Татьяна Сергеевна. Мама это моя.

— Татьяна Сергеевна,— зовет Сычужников,— кто вам запрещает говорить? Кто сказал вот так держать руки? Что с вами случилось?

В навалившейся тишине мне кажется, что я дышу, как паровоз, и начинаю пятиться к стенке, за спину Котовскому, не отрываясь взглядом от голых ног, которые шевелятся поочередно, будто нажимая на невидимые педальки.

— Всю ночь ходила. Ванну разгромила. Хотела уйти в окно, дверь. Кто-то ей сигналы светом подает. Кашпировского посмотрела — и началось. Я ему уже две телеграммы послала,— и дочь начинает плакать, муж, докурив свое в коридоре, слоняется по кухне, шаркая тапками.

— Татьяна Сергеевна,— Сычужников отрывает пальцы от крепко сжатого рта и усаживает женщину.— Посмотрите на нас, вы же меня слышите.

Горелов кивает дочери: готовьте одежду.

Татьяна Сергеевна открывает глаза. Она смотрит в упор на меня, и у меня уже пересыхает в горле от одной мысли, что она сейчас что-то скажет. Дочь приносит одежду, Котовский вертит в руках сапоги, разбираясь: правый — левый.

— Кашпировский, меня видел весь мир?

Она проговорила это, наклонившись вперед, и все смолкли.

— Толик, теперь меня узнает весь мир?

Она говорит это, будто просыпаясь, мирно уложив ладони на коленях. Дочь уходит на кухню, у нее вздрагивают плечи.

— Я ведь делала все правильно? Мы заканчиваем сеанс? Да? Да!

Санитары склоняются к ней.

— Суйте ногу в сапог,— ворчит Горелов.— Вот так.

— Да! Да! Да!

Сычужников дает подписать дочери бумаги.

— Наша группа выходит на связь! Да! Да! Да! Нас — шесть.

— Будем пальто надевать,— командует Горелов.

Она вдруг выпаливает:

— Кто сказал?!

— Анатолий Михайлович,— врет Горелов, нахлобучивая ей на голову шапку, и ее уводят в лифт, я иду последний, переступая через детский велосипед.

На улице уже ночь.

— Одержимость. Как в средневековье,— оборачивается ко мне Сычужников.— На той неделе скрипачку одну брали, первичную, играла-играла, Кашпировского посмотрела — мать полезла душить. Синдром Кашпировского.

Больная в приемном покое — санитары уставились в телевизор, сестра ищет дежурного доктора, Сычужников уселся на лежак и поглядывает снизу на меня:

— Бывают и не такие острые. Процентов десять — пьяные дела. После антиалкогольных указов процентов на тридцать психозы упали, а теперь: все на место! Бабушки, дедушки звонят — старческое слабоумие, газом травят. Один дед вот такую пику отточил, чтобы мальчишку прирезать за то, что тот его лучами обсвечивал. Вот продлевают жизнь — а как быть с этой жизнью?! И как вообще быть с этими людьми? Вы думаете, нельзя многих выписать из больниц? Я одним по-настоящему занимался — он двадцать лет до меня сидел в больнице, уже в эмбриональной позе лежал, я с ним год поработал — и выписали. А только надо ли? Куда их выписывать? Кругом озверевший народ, люди давятся в очередях, жить негде, работу дать никто не готов, ухаживать некому, да кто просто по-человечески отнесется? А-а, да что тут говорить? Их миллионы, их все больше и больше сами плодим — а как им жить среди нас?

У самой станции дорогу машине переходит странная тетенька, которую тащат в сторону сразу семь убогих дворняг на поводках.

— Вот. Наверное, наш клиент,— хохочет Горелов.

Бригада торопится к телевизору досмотреть детектив.

Во дворе снег скрипит так, будто кто-то грызет капустный лист под черным небом с редкими звездными всходами.

— Вы знаете,— останавливается Сычужников,— прошлый год столько психиатров пациенты убили... У нас только — четыре черепно-мозговые травмы, у нас правило такое: без фамилий...

Хорошо, я моргаю, и никого уже нет, я остался один, я придумаю эти имена и лица, придумаю номер бригады, день, слова, все, кроме середины зимы,— от этого нам никуда не деться, и столько еще впереди...

ВЫДОХ

Поскальзываясь на обочине, я догнал женщину, которую тащили вперед, натягивая поводки, облезлые дворняги, ее окружение — шесть черных и одна рыжая — немедленно вытянулось в моем направлении, изнурительно лая, я кричал ей, и она мне в ответ, как через дорогу:

— Живу одна. Муж умер. Мама умерла. Детей нет. Стали приносить собак — выхаживаю. Кому-то ведь я должна отдавать, хотя тринадцать рублей в год налога за каждую, а я ничего с этих денег не вижу. И сосед все на меня жалобы пишет, а они совсем не лают. Из милиции пришли, а они окружили меня и молчат. Я говорю: видите? Они же не лают дома!

Она была похожа на солнце, и поводки от нее тянулись лучиками, а потом закручивались косыми струями водоворота или устремлялись на одну сторону, как трава под ветром.

— Они ведь у меня все с тяжелым прошлым, плохой наследственностью. Вот Тютечка — такая нервная, сколько убегала от меня, пока привыкла. Видите, как лают — поговорить не дают, обижаются. Слева: это девочки, а мальчишек у меня трое. Даже в отпуск из-за них не езжу. А это младшенький...

Младший был в синей фуфайке и робко жался к ногам хозяйки.

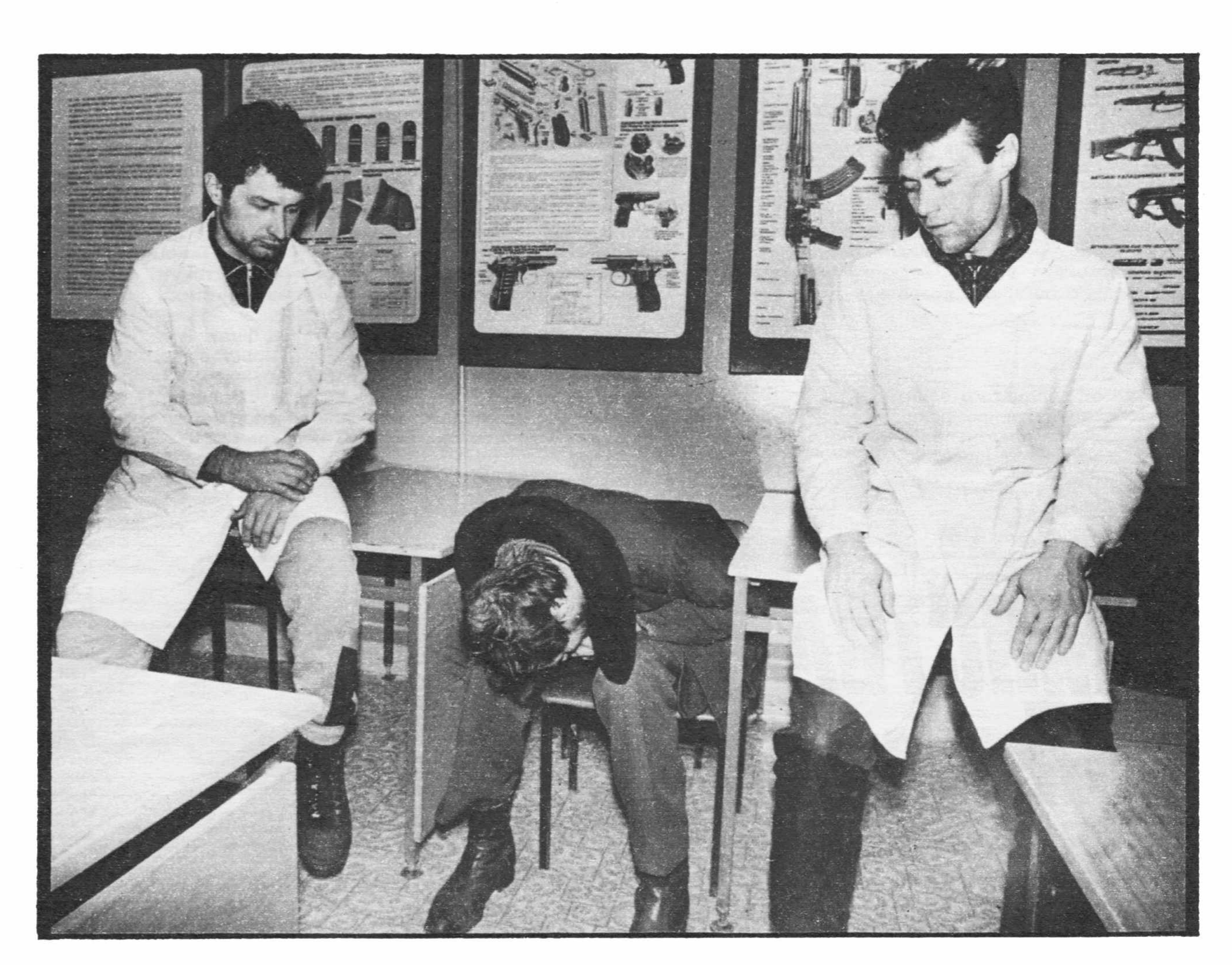
— Вот только сосед жалобы пишет,— горько повторила она, и тут ее Тютечка рванула из рук поводок и с захлебывающимся лаем пустилась вослед теленку сенбернару и стала кружить вокруг него, как настойчивая муха у распаренного коровьего бока, сенбернар осоловело оглядывался, а женщина, причитая: «Тютечка, Тютечка!», полезла через сугробы, уговаривая поспешить свою примолкнувшую братию и перетаскивая через трудные места младшенького в синей фуфайке на руках, она махала мне — не подходите, она при вас не вернется — и уходила, а я молча стоял, становясь частью синих теней, разбитой дороги, по которой, качаясь, спешила «скорая» с нахохлившейся фигурой на переднем сиденье, снег пускал редкие струи с ветвей после перелета задубевшей вороны, и куда ни пойди — везде была зима, и так далеко до проталин...

Товарищ сосед, я узнал вашу фамилию и адрес, я вас очень прошу, я молю вас, я заклинаю — не пишите на эту женщину жалоб! Не надо!

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Прообразом доктора Сычужникова послужил Леонид Александрович Умовский. Я могу это раскрыть, не боясь ему повредить. Дежурство со мной стало предпоследним в его жизни. Придя домой после следующего, он умер. На 36-й подстанции редко кто доживает до пенсии.

И еще я обязан рассказать вам следующее: мы заехали во время дежурства к нему домой, в крохотную комнату в подвале, и когда мы собирались уходить и уже поднимались по лестнице, его маленький сын заплакал: он хотел показать нам свою машинку, но постеснялся, и тогда я спустился к нему, и он протянул мне свой грузовик, я сказал: это хорошая машина,— и я сам не могу понять, почему вспоминаю об этом все время...







Владимир СОКОЛОВ

* * *

Грустно, что годы идут
С лицами переселенцев...

Я поступлю в институт
Для стариков и младенцев.
Думаю, примут. С зарей
Я ведь входил в эти росы.
И ведь неплохо порой
Им отвечал на вопросы.

Ель из-под синих бровей
Очи совиные вспучит.
Бабочка и муравей
Тоже чему-то научат.

Чтобы постигнуть и тут
Таинства дня и столетья,
Я поступлю в институт
Шелестов и многоцветья.

И проживу сонмы дней
Занятых или беспечных,
Слушая голос корней
Тоненьких и бесконечных.

И не осудит душа,
Что проживу не усталым,
Веткой попутной маша
Землю трясущим составам,

Радуясь этой земле,
Не понимающей горя,
Чтобы однажды во мгле
Вечность увидеть, как море.

Но это так тяжело,
Что институт мой — лишь своды
Рощи, в которую зло
Эти вторгаются годы.

О, не минуя и тут
Ни стариков, ни младенцев —
Видишь? — идут и идут...
С лицами переселенцев.

14 ДЕКАБРЯ 1988

Размику ДАВОЯНУ

Армения... Я в первые два дня
Двух слов связать не мог.
Я только слышал:
Армения... И только думал я
О тех, кто больше из дому не вышел.

О, боль разверзшаяся среди бела дня!
Где слово то, чтоб прикоснуться к ране?!
Я сын Твери, но родина моя
Сейчас в Армении,
в Ленинакане...

Печаль земли — родня людских содружеств.
Но — по ночам — в кромешной темноте,
Кто мне кричит: возьми, возьми мой ужас
На память о погибшей красоте?!

* * *

Валентину НИКУЛИНУ

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

Я давно уже ангел, наверно,
Потому что, печалью томим,
Не прошу, чтоб меня легковерно
От земли, что так выглядит скверно,
Шестикрылый унес серафим.

* * *

Наконец-то я молод
И свободен, и стар...
Но в ушах, точно молот,
За ударом удар:

«Скоро кончится Время,
Не твое — вообще!
Плыл ли ты на триреме
Или брел по шоссе,

Оборвется минута,
Улетая назад,
И обрушится круто
Вся История в ад.

И начнется без Слова
И без Света — Ничто.
Потому что иного
И не стоил никто...»

Что за сон, что за морок?
Что за страшная весть?
Наконец-то я молод!
Наконец-то я есть!

Я еще человечность
И любовь берегу.
Эту мертвую вечность
Я понять не могу.

О, когда нас не будет
Никогда, никогда —
Кто поймет, кто рассудит,
Кто помянет тогда?

* * *

У меня, когда вас вижу, перехватывает горло
(Хоть я вас совсем не вижу ни во сне, ни наяву).
В вашей памяти, наверно, время смазало и стерло
И меня, и переулок — я его не назову.

Есть у этих переулков гипнотическое свойство.
И особые пароли, утаенные навек.
Где ваш дом, как честь, роняли в дни и сны
переустройства.
Я один стоял без шапки; просто так, как человек.

Крыша падала, как сердце, сразу вверх и вниз,
как в пропасть,
Но один балкон узорный в черном космосе
повис —
Тем и спасся!.. И сегодня я испытываю робость
Не тогда, когда я в небе, а когда гляжу я вниз.

У меня, когда вас вижу, опускаются ладони,
Вспоминая влажность пальцев, длинно сжавших
пять моих.
У меня сухие пальцы, в них еще и нынче тонет
Ваше тесное признанье, точно клавиш или стих...

Где же ваши совершенства? Вы ведь были чуть
постарше...
Но — над бывшим переулком и над бывшею
Москвой,
Где мы даже целовались под салюты и под марши,
Я один. Под черным снегом. С непокрытой
головой.

ОТРЫВОК

...Так звездочет, звездой влекомый,
Оказывается ни с чем,
Когда его любой знакомый
Хватает за рукав: ты с кем?
Ему, когда он глаз не сводит
С отрады будущей земной,
И в голову-то не приходит
Спросить, озлясь: а кто со мной?
С ним — никого. С ним только вечность.
...Ни крыши нет, ни потолка,
Ни стен... Он брошен в бесконечность,
А там не смотрят свысока.
Он в апогее, он в зените,
Он в перигее звездных стуж...
А что он ест? Повремените!
Вы не кормильцы этих душ...

Он долго ищет свет в подъезде,
Но Вифлеемская звезда
Среди нависнувших созвездий
Ему мерцает иногда.

* * *

Это никого не касается,
Но вчера в шумящем саду
Улыбнулась чья-то красавица
Мне, издалека, на ходу.

И исчезла в шуме и в прелести
Золотой и алой листвы.
Я подумал только о шелесте
Листьев и глазах синевы.

Это никого не касается,
Это грустно, может быть... Но
Сам я в том, что вечно кончается,
Тоже исчезаю давно.

* * *

И вдруг старый ужас, что я не я,
И жизнь моя — не моя.—
Уловка чуждого бытия,
И даже она ничья.

И вдруг тихим страхом и шепотком:
Я сбился тогда, пешком,
И путь этот странен и незнаком,
Хоть припорошен снежком...

Я помню, когда начался мой бред
О том, что меня нет,
А есть только в черном пальто поэт
Да рифмы неверный след.

О, как мне отделаться от него,
Товарища моего.
Он все, что люблю, обращает в звук,
Все, что во мне и вокруг.

Я знаю, он свой, но чуть-чуть другой.
И кто из нас чей двойник?
Вот он и сейчас над моей рукой
К странице своей приник.

* * *

Когда я постарею, я начну
Писать сонеты или триолеты,
Начну, начну в ночную тишину
Шептать: заветы, меты, амулеты.

Начну ловить на звук, как на блесну,
В ручьях созвучий рифмы — светы, леты...
И вдруг случайным словом помяну
Весну, когда мне нравились поэты,

Чьи ритмы, прядь сдувавшие со лба,
Глаза мне пылью века засоряли
И промывали зрение раба
Слезой, что сами же и вызывали,

Чьи рифмы так же были неточны,
Как клятвы, данные в пылу весны.

* * *

Весна. Финансовые затруднения.
Черемуха около небосвода.
Когда я предчувствовал гул падения,
Мне ветку протягивала природа.

Все так. Но в воду я тем не менее
Все реже совался, не зная брода...
Когда во мне убивали гения,
Хорошая, помню, была погода.



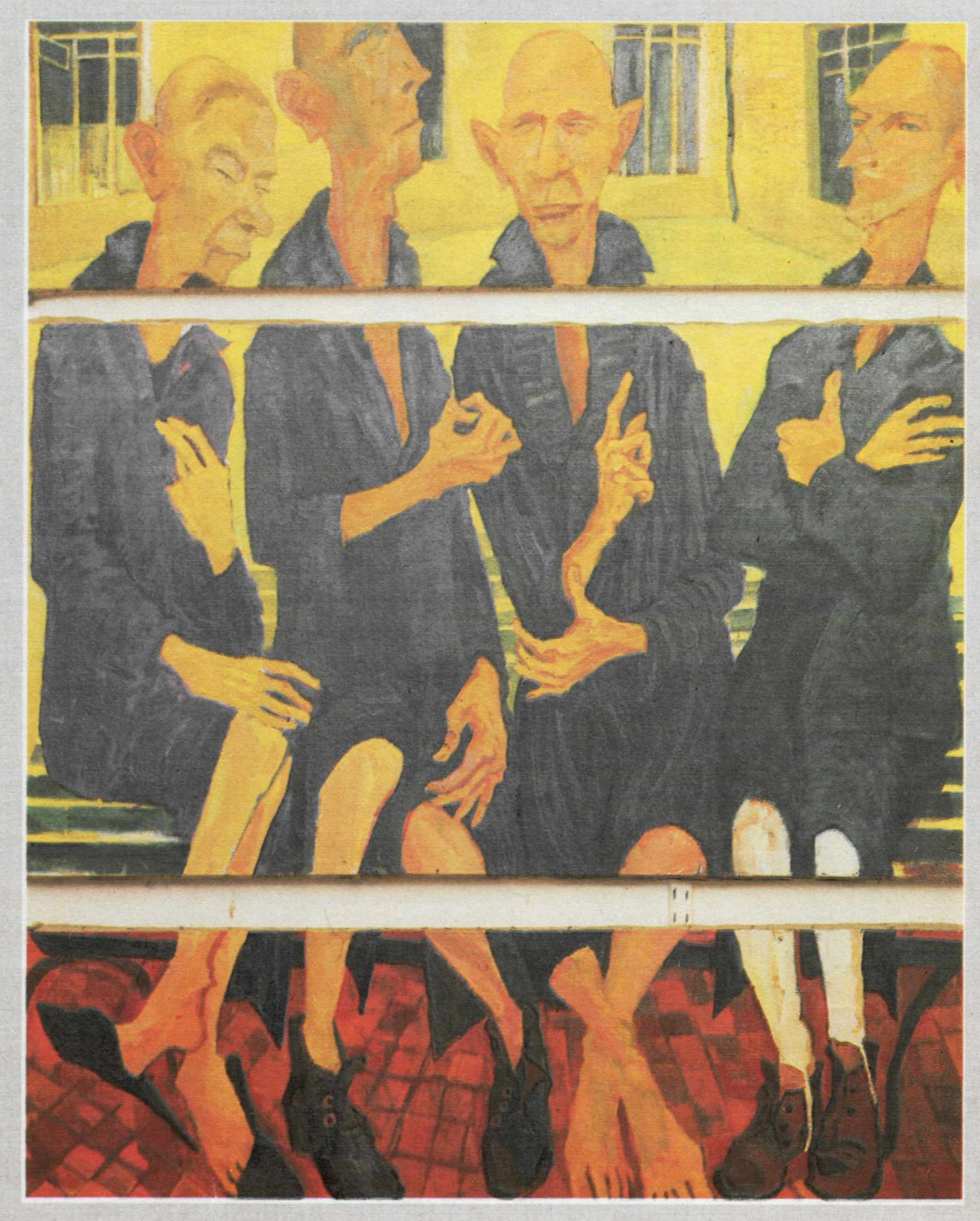
КРАСНЫЙ ГОРОД

У Максима Кантора есть холст, на котором не изображено ничего, кроме стены: плотные ряды багрово-красных кирпичей, прошитые липкими цементными швами. Вместо традиционной для нового искусства картины — «окно в мир» — стена, встающая преградой между миром и человеком, между человеком и человеком. Стена отчуждения, непонимания, разобщенности. Стена, которую необходимо взорвать, взломать, разрушить, преодолеть.

Каждая последующая работа художника в чем-то продолжает предыдущую: отсеченный кусок красной кирпичной стены заключает в себе гигантскую силу к самовоспроизведению. Она ширится, вырастая в багровый дом, в дома-громады с черными слепыми окнами-щелями. Этот образ складывался из впечатлений от краснокирпичной архитектуры жилищ, тюрем, заводов, школ, больниц. Те же багровые отсветы окрашивают воздух и землю. Затоптанная краснота затекает под ноги кафельной плиткой, предательски запекается на руках и лицах... А все разрастающийся Красный город обступает, наступает, подавляет. И вот уже сочатся между домами тонкие струйки людские, смятые и податливо склонившиеся под гнетом неведомой им силы, человекообразными сгустками отстаиваясь на вокзалах, в вагонах метро, в больницах, закусочных («Столовая»). Скучившись у стоек, в пальто, они торопливо заталкивают в рты пельмени, поспешно поглощая каждый свою «похлебку бытия», не замечая при этом ни друг друга, ни того, как сами они превращаются в обездушенный «кусок».

Но как противодействие унифицированному социуму, как попытка сохранить важные человеческие ценности возникает повышенная тяга людей друг к другу. В групповых портретах Максима Кантора оживает романтическая традиция с ее поиском духовной общности людей, заново открывается иконописная традиция. «Семья» с фигурой отца в центре изображена в момент наивысшей духовной сосредоточенности и единения.

— Искусство помогает человеку выстоять перед наступлением тотальной безликости,— считает Максим Кантор.— Если картина груба, как действительность (вспомним Ван Гога), то и действительность



«РАЗГОВОР ГЛУХОНЕМЫХ», 1985.

может быть прекрасна, как произведение искусства. Приняв на себя тяжесть жизни, искусство может ее преодолеть. Произведения, в которых слышно затрудненное дыхание, усилие, являются гарантией прочности человека. Значит, он справится, сможет отстоять свое достоинство. Точно выразил идею этого противостояния О. Мандельштам: «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам».

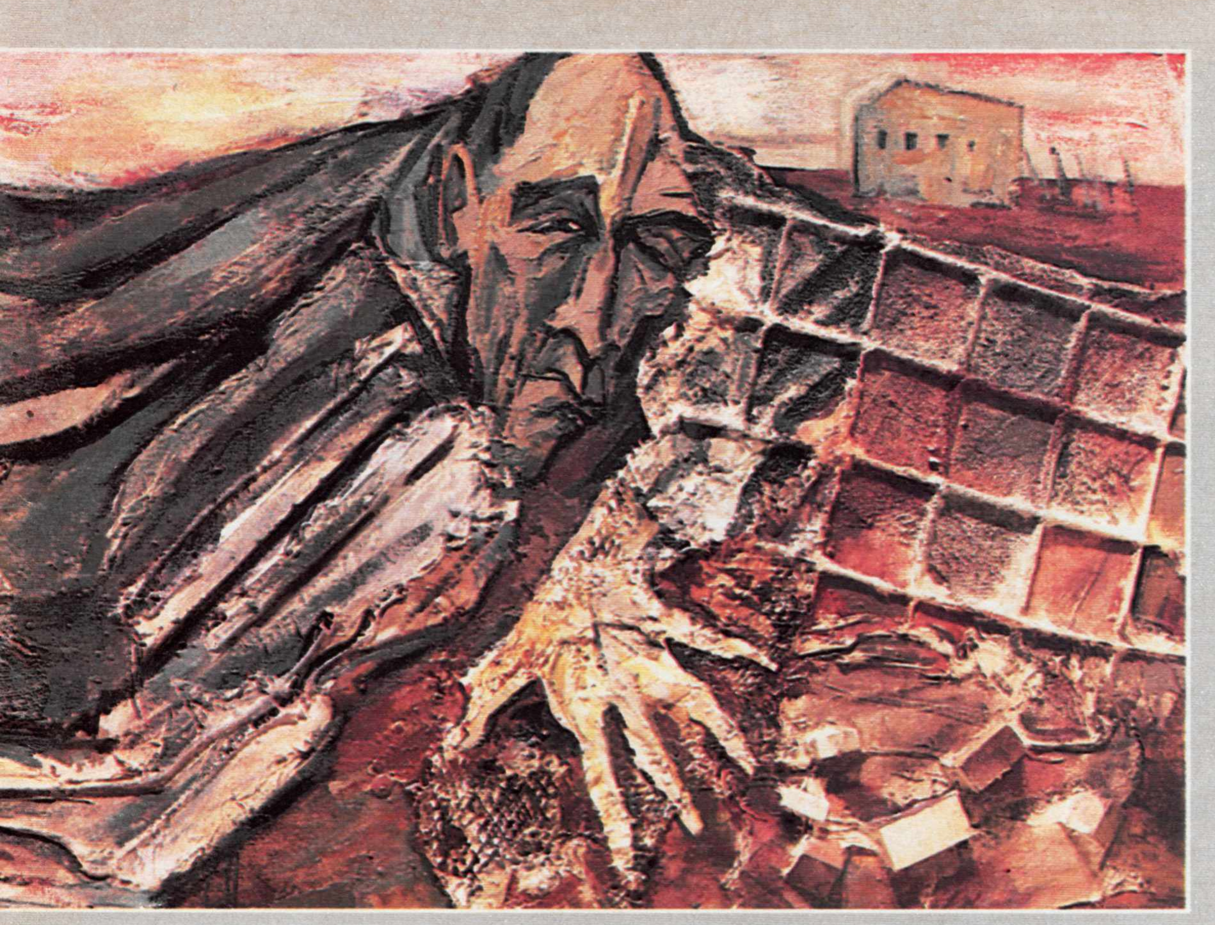
— Ваш герой, кто он?

— Мои герои для меня всегда конкретны, их индивидуальность не просто мне дорога, это условие их выживания в холсте. Я пишу родные и знакомые мне лица — почти всегда это моя семья, мои друзья, я сам. Так что все деформации, искажения изображения в моих картинах касаются прежде всего меня самого и пишутся ради того, чтобы их преодолеть. Повторяю, дисгармония не самоцель и не ценность: цель в том, чтобы ее преодолеть, победить, назвав вещи своими именами, не испугаться, не отвернуться. Это представляется мне условием создания подлинно гармонического произведения. Я хочу писать такие картины, чтобы они стали памятником людям, которых я люблю, свидетельством человеческой стойкости.

— За последние два года к вам пришел большой успех. Годами прежде накапливавшиеся в мастерской работы теперь входят в крупнейшие музейные собрания, например, в собрание Государственной Третьяковской галереи, музеи Наннена и Людвига

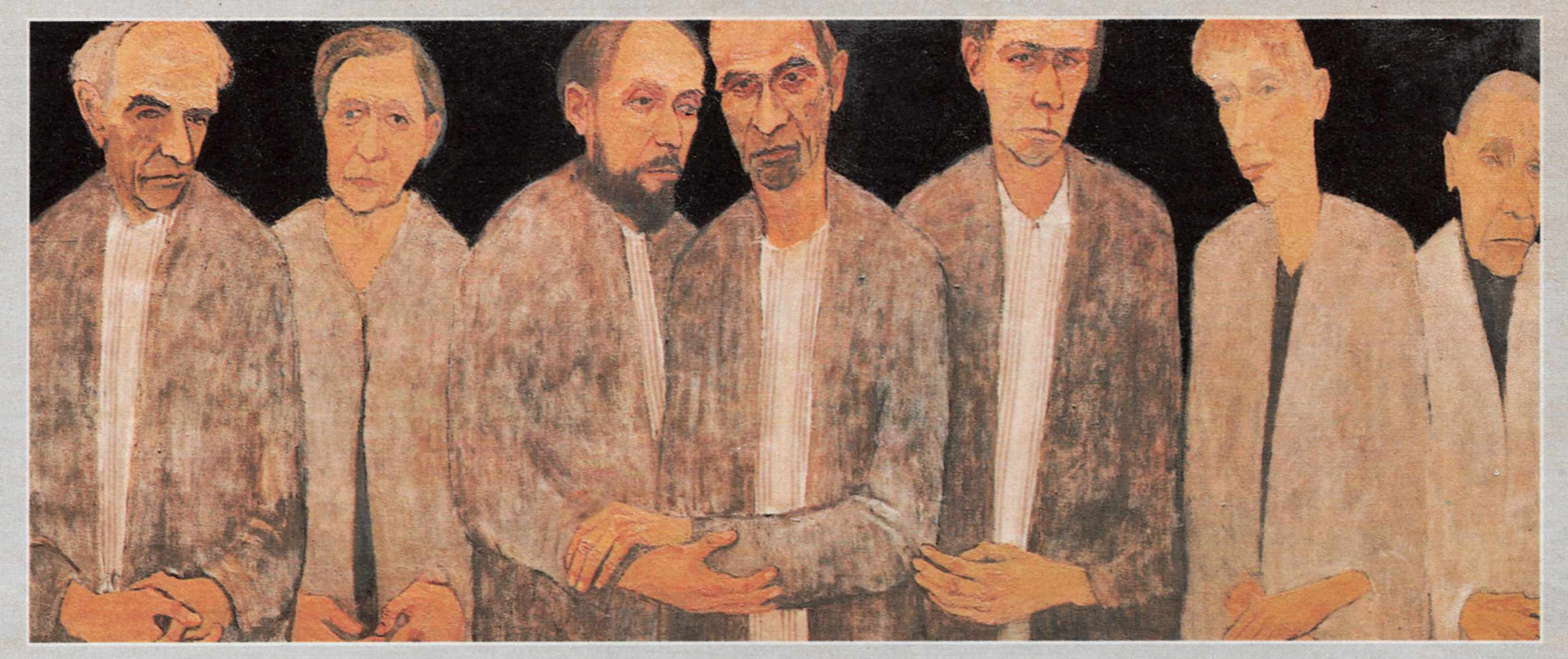


«УТРЕННИЙ ОБХОД», 1986.



«ВСТАЮЩИЙ», 1986.

«СТОЛОВАЯ», 1984.



«СЕМЬЯ», 1983.

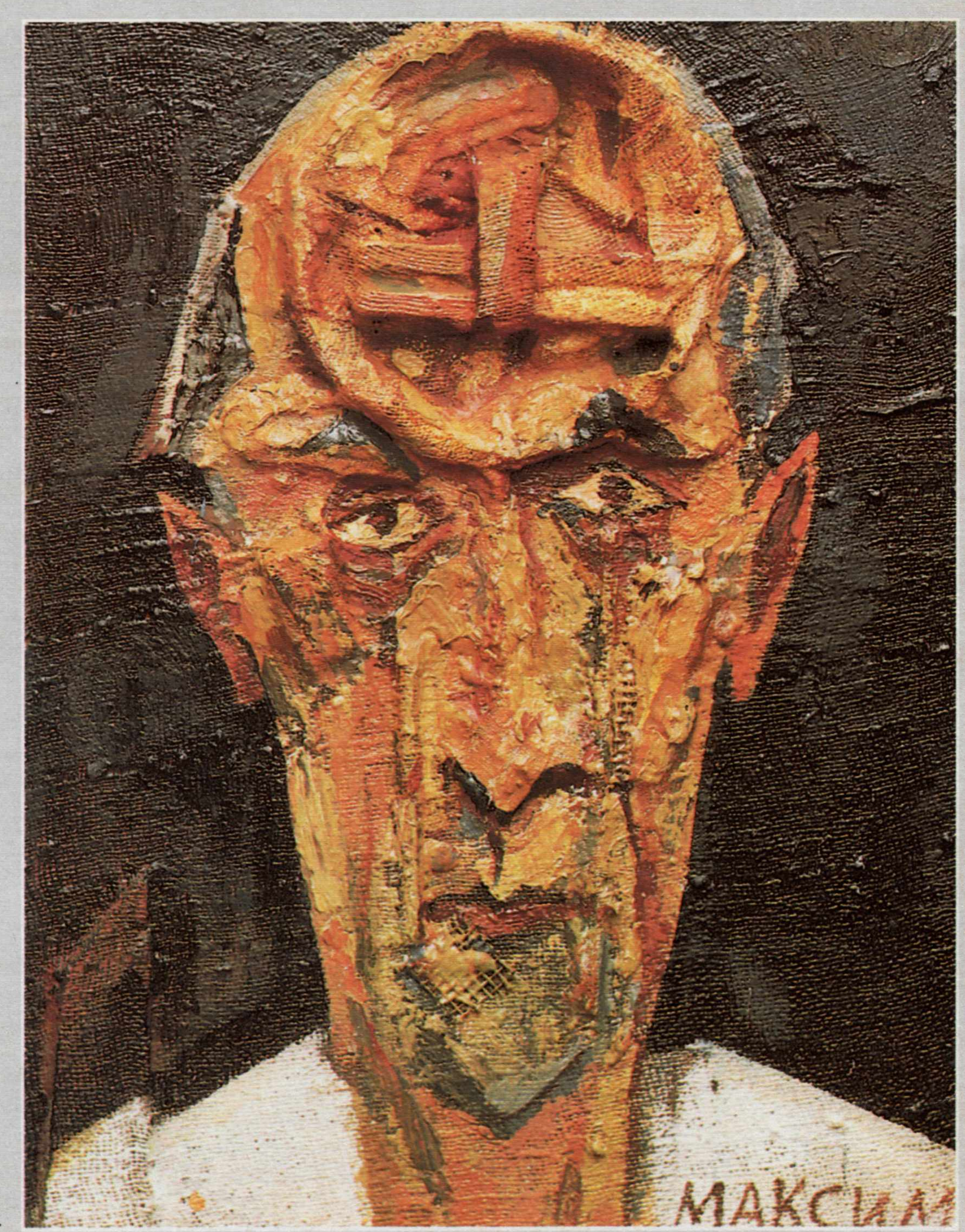
в ФРГ. Они экспонируются на престижных международных выставках в СССР и за рубежом. У вас масса предложений по поводу работ, контрактов. Как вы оцениваете для себя такие перемены в вашей жизни?

— Признаться, у меня от всего этого очень тяжелое чувство. Я глубоко благодарен Наннену — волею судеб он явился моим меценатом. Любому художнику приятно знать, что где-то его картин много, они висят, а сам он пользуется любовью и уважением. Это чувство отрадное, но все же частное, не имеющее отношения к проблемам духа.

Произведения искусства необходимы, как необходимы велосипеды, хорошие машины, одежда и т. п. Они являются предметом спроса и вырабатываются гигантской фабрикой. Здесь и там. Эти две фабрики могут соревноваться между собой, и можно говорить, что западная фабрика лучше, потому что она прогрессивней, труд там не такой грязный и платят лучше. Здесь фабрика паршивая. Но отличаются они между собой только как две фабрики. Наивно думать, что Базелитц принципиально лучше, чем Дейнека или А. Герасимов, что в первом случае творчество свободное, а во втором — ангажированное. В обоих случаях это гигантская социальная адаптация, все они заангажированы и обслуживают каждый свою культуру и свою социальную среду.

В искусстве, на мой взгляд, важнее другое — нарушить детерминизм истории, культуры, цивилизации. В борьбе с природой искусство проигрывает, как проигрывает, скажем, медицина, борясь за человека с болезнями. Каждая смерть человека — это ее проигрыш. Но разве это делает бессмысленной саму борьбу?..

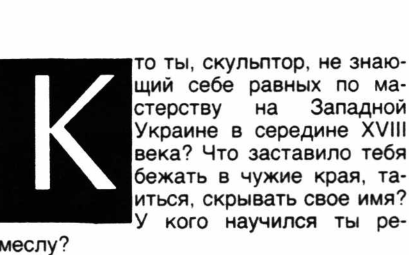
Ольга ПОЛЯНСКАЯ



«КАРТОТЕКА» (фрагмент), 1988.



ОСНОВАТЕЛЬ «ЛЬВОВСКОЙ ШКОЛЫ»



Кто ты, скульптор, не знающий себе равных по мастерству на Западной Украине в середине XVIII века? Что заставило тебя бежать в чужие края, таиться, скрывать свое имя? У кого научился ты ремеслу?

На эти вопросы до сих пор нет ответов. И будут ли?..

Впервые он упоминается в книге расходов за 1759 год львовского Святоюрского собора, обнаруженной в 1906 году. В ней записано, что мастеру Пинзелю выплачено 37 тысяч злотых за каменные скульптуры святых Юрия, Афанасия и Льва на фасаде сооружения. В подобном же документе за 1761 год костела города Монастыриска стоит пометка об уплате ему за два алтарика 810 злотых.

Современники называли Пинзеля «сныцерь», что значило резчик по дереву. Настоящего его имени никто не знал.

Искусствоведы считают, что многое в творчестве Пинзеля напоминает пражскую скульптуру первой половины XVIII века. Работал ли он в знаменитых пражских мастерских — неизвестно. Но, без сомнения, ему хорошо было знакомо искусство самого популярного в то время пражского мастера Матея Брауна. В последнее время некоторые специалисты осторожно высказываются и о влиянии скульптуры Византии на творчество мастера.

Пинзель создал школу, называемую ныне «львовской». Его виртуозная, выразительная техника резьбы по дереву не только повлияла на каменную скуль-

«ПУТТИ». 1752—1755(?).

птуру, но стала объектом подражания его современников.

Напряженный драматизм в соединении с психологической глубиной образов, пластичность и экспрессивность формы — вот что отличает искусство Пинзеля и тех, кто развил заложенные им традиции «львовской школы».

Большинство из шедевров, оставленных «сныцерем» потомкам, хранится в сокровищнице Львовской картинной галереи. Изучая их, исследователи открывают все новые и новые секреты высочайшего мастерства львовских скульпторов XVIII столетия. Но кто он — мастер Пинзель,— остается тайной...

Борис ВОЗНИЦКИЙ

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА», конец 1750-х годов.



«ГОЛОВА АНГЕЛА», 1752—1755.

«КРЫЛАТАЯ ГОЛОВКА», 1752—1755(?).

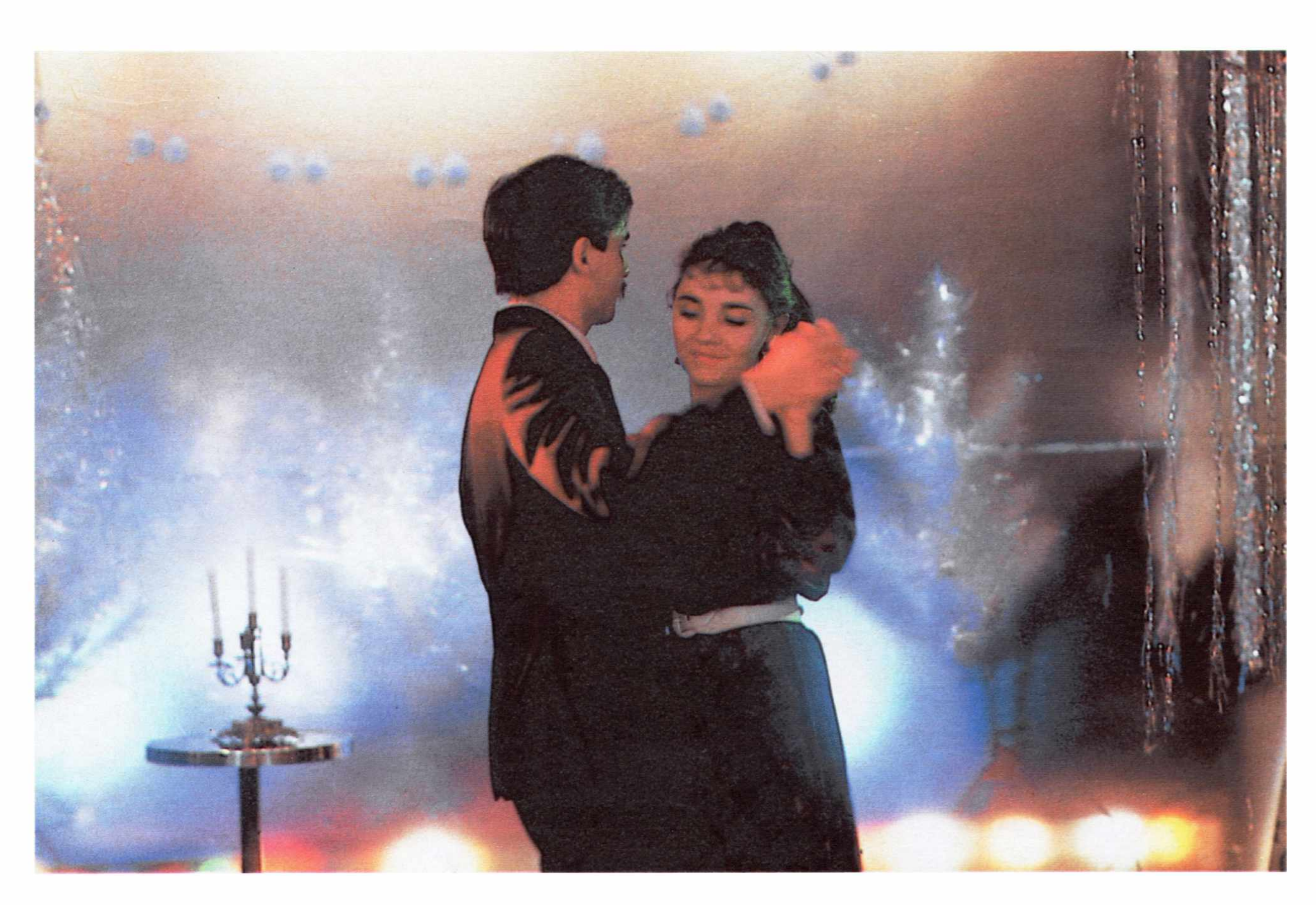


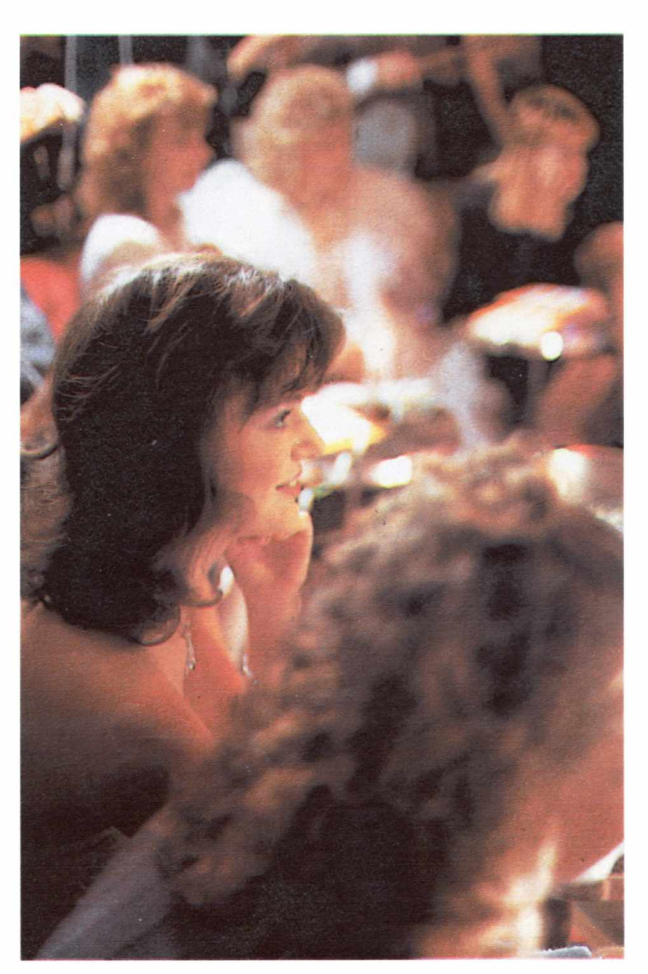
«МАРИЯ», конец 1750-х годов.

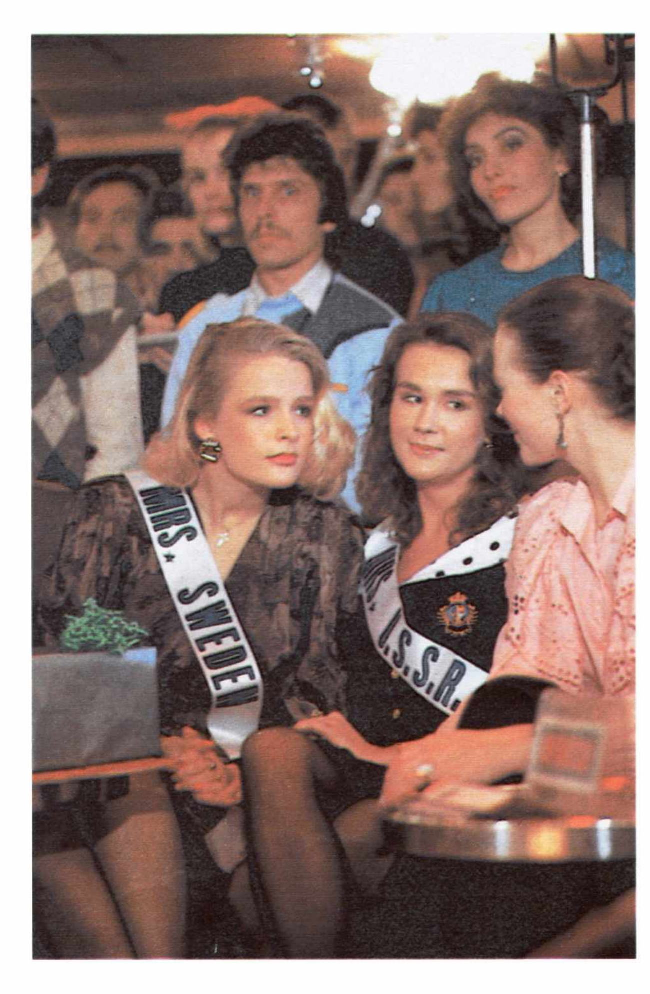


ОГОНЁК

ДЛЯ ТЕБЯ, ЛЮБИМЫЙ МОЙ!







Танцевать при корабельной качке трудно. Еще труднее, если эти танцы — один из туров конкурса красоты «Супруга-89». Его организовали и провели на борту теплохода «Эстония» Центр социально-экономических инициатив «Комсомольской правды» и БММТ «Спутник». В финале оказалось тридцать восемь супружеских пар, вернее тридцать восемь жен, оспаривающих право называться самой очаровательной «миссис». Проводилось много конкурсов, серьезных и шутливых. Например, муж должен был по приготовленному салату узнать свою жену, а жене, в свою очередь, предстояло по голым ногам найти своего избранника.

Теплоход пришвартовывался в Хельсинки, Стокгольме, Копенгагене и Любеке. И везде участников конкурса воспринимали как посланцев народной дипломатии, окружали вниманием и доброжелательностью. В одном из шведских городов конкурсанткам предстояло потратить 500 крон в магазине, и по покупкам жюри судило о практичности и хозяйственности женщин. Как выяснилось в ходе конкурса, лучшей супругой оказалась Надя Козицына из Москвы.

Екатерина КЕЧКИНА

ХЭППИ ЭНД

Виктория ТОКАРЕВА

РАССКАЗ

Рисунок
Олега ВУКОЛОВА

II

Фамилия режиссера — Сидоров. На киностудии работали два Сидоровых. Две творческие единицы под одной фамилией. Чтобы не путаться, одному оставили как было, а другому дали прозвище «Анчар». Тот самый, пушкинский. «К нему и птица не летит и тигр нейдет...». У Анчара был тяжелый скорпионный характер. Он мучил всех и себя в первую очередь. На прошлой картине отказался отпустить актера в роддом навестить жену с ребенком. Потом все же смилостивился и выделил полтора часа. К роддому подъехал немецкий «оппель», оттуда вышли офицер в форме СС с автоматом и партизан в ватнике. Вошли в роддом. Партизан поцеловал жену, заглянул в красное резиновое личико ребенка. Его тут же забрали в машину и увезли.

Женщины, глядевшие в окна, подумали, что у них послеродовой психоз. Иначе откуда в восьмидесятых годах немцы и партизаны?

В данную минуту времени Анчар сидел в своем кабинете за столом, пил чай и грел руки о стакан. Он готовился снимать новый фильм, современную «Золушку». Золушка — лимитчица. Принц — эфиоп. На роль принца взяли студента из университета Лумумбы, который действительно оказался принцем. Его папаша-король отправил сына учиться в Россию. Принц был богат, красив и скромен, как все люди, долго живущие в достатке. Они гармонично развиваются. В них не вырабатывается хваткости и хамства. Эти качества им не нужны.

Принц совпадал с образом на сто один процент. А вот Золушка... Анчар только что просмотрел пробы: актриса талантливая, но уже известная, засмотренная. Играет наивность, а в каждом глазу по пятаку. Золушки нет и, как казалось, никогда не будет. У Анчара было чувство, что он стоит на подоконнике сто второго этажа. Подоконник качается, ползет под ногой. Как в страшном сне.

В кабинете сидели друзья и соратники: второй режиссер и монтажница,— с которыми он шел из картины в картину.

Второй — сальный, вариантный, состоящий из множества комбинаций, как замусоленная колода карт. Анчар знал ему цену, но держал за преданность. Преданность была стопроцентной. А это — главное: хоть плохонькое, да мое.

Монтажница смотрела на Анчара и мучилась его мукой. В какую-то минуту отвлеклась на домашние дела: в доме нет картошки. В магазине плохая, начинаешь чистить — вся в синяках. Видимо, сбрасывают с большой высоты, не умеют хранить. Надо покупать на базаре, килограммов десять — пятнадцать, чтобы подольше хватило. А как дотащишь пятнадцать килограммов? Пуп развяжется. Придатки болят, постоянное воспаление после первого аборта.

Анчар строго глянул на монтажницу, и она увидела, что он все засек. Надо думать о работе. Монтажница преданно сморгнула и переключила мысли с личного на общественное.

В эту смутную минуту отворилась дверь и в комнату вошла Эля.

Минаев заказал ей пропуск на киностудию.

— Здравствуйте,— сказала Эля.— Моя фамилия Мишаткина. Я жена артиста Игоря Мишаткина.

— Есть такой,— вспомнил Второй, глядя на Элю, как перекормленный кот на очередную мышь.

Монтажница приставила к Эле свои острые глазки и сверлила в ней дырку. Она ненавидела молодых женщин, всех без исключения. Ее бы воля — погрузила всех на плот непомерной длины и ширины, свезла в море и ссыпала в морскую пучину. Так делали в Китае во времена Мао, когда освобождали город от проституток.

— Дайте ему работу. Он пропадает. Пожалуйста...

Анчар смотрел в ее глаза, но думал о своем. Он думал: есть люди, которые умеют жить. Просто жить и радоваться. А есть творцы. Они умеют отображать жизнь, а сами не живут. Сейчас в эту минуту Анчар твердо знал, что не умеет ни жить, ни отражать. Каждый час, как фальшивый рубль, не обеспечен золотым запасом.

Монтажница презрительно дернула губой. В кино не просят, а тем более не посылают жен. В кино гордо ждут.

Второй засалился еще больше, нос заблестел от выступившего жира, хоть яичницу жарь.

Эля обвела их глазами. Слепые. Глухие. Не видят. Не слышат. Сидят, как рыбы в аквариуме, смотрят сквозь толщу воды.

Эля поняла, что ничего не получится, и успокоилась. Трезво посмотрела на эту троицу. Разве это люди? Недочеловеки. Рабы.

— Оставьте ваш телефон. Мы позвоним,— пообещал Второй.

— Вы не позвоните,— спокойно сказала Эля.— Все вы тут горнолыжники.

— Почему горнолыжники? — удивился Анчар.

— Когда один ломает шею, другому некогда остановиться. Он на скорости,— объяснила Эля.— Но ничего. Когда-нибудь вы тоже сломаете себе шею и к вам тоже никто не подойдет.

Эля повернулась и вышла из комнаты. Все трое молчали — минуту, а может, две. За это время поезд Элиной судьбы подошел к развилке. Отсюда, от развилки, было три пути: прямо, влево и вправо. Поезд остановился, как Илья Муромец. Но у Ильи на стрелках было ясно указано, где что найдешь, а где что потеряешь. Здесь не было написано ничего. Судьба ни о чем не сообщает заранее, а может, и сама не знает.

— Кто это Мишаткин? — спросил Анчар.

— Дохлый номер,— отозвался Второй.— Десять лет не снимается. Спился, по-моему.

Монтажница при слове «десять» снова вспомнила о картошке: десять или пятнадцать килограммов.

— А как же он живет? — спросил Анчар.

Второй пожал плечами.

— А профсоюз у нас есть?

— Есть,— подтвердил Второй.— И что с того? Профсоюз не может заставить вас снимать Мишаткиных, если вы не хотите.

Анчар посмотрел на Второго, осмысливая сказанное.

— Может быть, дать ему шофера грузовика? — вслух подумал Анчар.

— Это же почти массовка,— напомнила монтажница.— Десять лет не снимался, и в массовку.

— Сделаем две-три реплики, будет эпизод.

Стрелка судьбы щелкнула. Поезд пошел прямо. Рельсы благодарно и преданно стелились под колеса.

Игоря Мишаткина пригласили на роль шофера грузовика, который потом стал кучером ракеты-тыквы.

Игорь сидел в гримерной и волновался, что гримерша Валя недостаточно скрывает его потертость. Игорю хотелось быть красивым. Потом он сообразил: чем хуже, тем лучше. Густой тон покрыл лицо неинтеллигентным, жлобским загаром. Не скрыл, а, наоборот, проявил морщины. Линия глаза в окружении морщин напоминала рисунок голубя мира Пикассо. Овал глаза — очертания голубя, птичье тело. А веер морщин в углу — хвост. В довершение на передний зуб надели серебряную фиксу, на голову — плоскую кепочку.

Получился типичный люмпен. Казалось, что это не артист Театра киноактера, а настоящий ханурик, которого задержали на дороге и попросили сняться в кино.

Кучер тыквы был с тем же серебряным зубом, но в широких коротких штанах, похожих на арбузы, и в белых чулках.

Эти два Мишаткина, особенно первый, вызвали на съемочной площадке смех. Смешно, когда узнаваемо. Узнаваемо, когда правда.

Из восьмидесяти минут экранного времени Игорь прожил на экране четыре минуты и сказал одну фразу: «Никогда хорошо не жили, нечего и начинать». Но запомнились и он, и фраза. Игоря узнавали в метро. И когда он ехал на эскалаторе вверх — замечал: на него смотрят те, что едут вниз,— и он возносился, возносился. Казалось, что эскалатор донесет его до облаков.

Эля решила воспользоваться просверкнувшей удачей и пошла в районный отдел распределения жилплощади. Отдел находился на первом этаже. Раскрыв дверь, Эля увидела человеческий муравейник. Но в муравейнике — дисциплина, а здесь — хаос. Значит, потревоженный муравейник. Краснолицый инспектор громко отчитывал женщину:

— Как вы себя ведете? Вот возьму и вызову сейчас милицию.

— А что я сделала? — оправдывалась женщина.

— Как что сделали? Побежали в туалет вешаться.

— Да ничего не вешаться. Просто в туалет, и все.

— Вы сказали: «Если не дадите квартиру, пойду в туалет и повешусь». Вот люди слышали.

— А что нам остается?

Очередь заурчала. Назревал бунт.

— Товарищи! — растерялся инспектор.— Ну что я могу сделать? Я исполнитель. Если в районе нет жилья, я вам его не рожу.

Эля поняла: с исполнителем разговаривать бессмысленно.

Когда подошла ее очередь, спросила:

— Кто у вас тут самый главный?

— В каком смысле? — обиделся инспектор.

— Ну, кто решает,— объяснила Эля.

— Малинин,— назвал инспектор.— Но вас к нему не пропустят. Вас много, а он один.

Малинин сидел без пиджака, смотрел домашними

Окончание. Начало в № 10.

глазами. Он узнал Игоря, с удовольствием рассказал ему, что сам из военных, служил на подводной лодке. Подлодка — хуже, чем заключение. В заключении — лесоповал, тайга, много свежего воздуха. А на подлодке замкнутое пространство, кислорода не хватает, можно сойти с ума. Некоторые и сходили, и даже пытались разгерметизировать лодку, чтобы разом все покончить. Но подлодку один человек не может вывести из строя. Надо нажать сразу две кнопки в разных концах. А двое одновременно, как правило, с ума не сходят.

Игорь сочувственно слушал, кивал головой. Ему тоже хотелось рассказать, как он десять лет не снимался и эти десять лет осели в нем копотью на сосудах, на душе. Пасмурно жить. Но жаловаться было нельзя. В сложившейся расстановке сил Игорь не имел права выглядеть жалким. Он должен был глядеться хозяином жизни, который почему-то живет в коммуналке.

Разговор окончился тем, что реактивного братца с сестрой отселили в отдельную однокомнатную квартиру в Ясенево, на край леса. А Мишаткиным досталась вторая комната. Отдельная квартира на Патриарших прудах. И все по закону. Сейчас Москва освобождается от коммуналок.

Мама Игоря предложила Эле перевезти в Москву Кирюшку. Она соглашалась быть ему бабушкой и учить уроки. Кирюшка уже пошел в первый класс.

Толик жил в Летичеве с Веркой-разводушкой. Свой новый брак он не регистрировал, но Верка тем не менее родила ему дочку и снова ходила беременная. Получалось, что у Толика — трое детей, а у Эли — ни одного.

Эля написала Толику письмо и попросила привезти Кирюшку. Сама не поехала, чтобы не встречаться с Кислючихой, с беременной Веркой. Верка была ей омерзительна, как кошка, укравшая со стола чужой кусок. Эля забыла, что сама бросила Толика, обманула, предала. Но ей можно, а Верке нельзя.

Толик привез сына. В дом войти отказался. Ему было невыносимо видеть Элю чужой женой. Он стоял во дворе и смотрел в землю. Эля поняла: боится ее видеть. Боится новых страданий.

— Ты же обещал ждать,— усмехнулась Эля.

— А я жду,— серьезно ответил Толик, продолжая смотреть в землю.

— С Веркой?

— Нет. Один. Верка не ждет.

За прошедшие годы Толик не изменился. Он вообще мало менялся. Вечный мальчик. И возле него так легко стоять, как в лесу. А возле Игоря стоять тяжело. От него исходило хроническое неудовольствие, как радиация от Чернобыльской АЭС.

Но здесь, на Патриарших, надо было постоянно что-то завоевывать и преодолевать. А там, возле свиньи, все спокойно, как на пенсии.

— Ну, как там у вас? — спросила Эля неопределенно.

Толик рассказал, что в шахте случилась авария по вине вечно пьяного расхристанного Мослаченко. Сам Мослаченко погиб. Ведется расследование, но и без расследования ясно: преступная халатность. Толик, как юрист, должен дать заключение. Но семья Мослаченко просит свалить все на шахту. Тогда другая пенсия детям. Дети ведь не виноваты в халатности папаши. Им надо расти, вставать на ноги.

— Государство у нас не бедное,— подсказала Эля.— Пусть платит.

Толик не ответил. Он понимал: Мослаченко виноват и наказан. Он умер. Значит, добро и зло уравновешены. Зачем прибавлять зла, наказывать детей?

Но Толик Кислюк не мог писать неправду. Ему соврать — все равно что съесть дохлую мышь. Умрет от отравления.

Толик стоял и мучился от невыносимости чувств.

— А Верка что говорит? — спросила Эля.

— Не помню,— сказал Толик.

То ли Верка, замученная хозяйством, ничего не говорила, то ли он не прислушивался к Веркиной душе.

Кирюшка поселился в комнате вместе с чужой бабкой. Своя бабка была толстая и уютная, так весело было ползать по ее животу вдоль и поперек, а эта — узкая и жесткая. Прежняя бабка то тискала его, то орала как резаная, а эта говорит ровно и правильно, как по радио. Кирюшка привык из дома выходить сразу в сад. А здесь он из дверей выходил на лестницу с мусоропроводом. И дышать ему нечем. И безобразничать неудобно. И отец чужой. И даже мама какая-то другая.

По ночам его тоска особенно сгущалась, становилась невыносимой. Он кричал на всю квартиру, а может, даже и на весь этаж. И плевать ему, что новый папа спит и что завтра ему на работу. Раз никто не считается с ним, то и он, в свою очередь, не будет ни с кем считаться.

Эля ложилась рядом, утешала, увещевала. Слышала, как под руками вздрагивает его хрупкое тельце. Как раненый заяц. Потом он засыпал. Эля всматривалась в спящего сына. Он был копия Толика, но как бы омыт ее красотой. Изысканный хрупкий мальчик, похожий на жениха Дюймовочки — принца эльфов.

Эля любила сына, но могла вкладывать в него только часть жизни. А Кислючиха — всю жизнь. Значит, там ему было лучше.

За Кирюшкой снова приехал Толик. Теперь они расставались надолго.

— Я сама виновата,— сказала Эля.— Я отучила его от себя.

— Ты не виновата. Ты счастье искала.

Великодушие Толика ударило Элю, как пощечина. Она заплакала.

— Мы никуда не денемся,— сказал Толик и бесстрашно посмотрел в Элины глаза.— Мы у тебя есть и будем.

Кирюшка вытащил свою руку из руки отца и побежал к берегу смотреть лебедей. Лебеди скользили по воде. Посреди пруда стоял их деревянный домик.

После «Золушки» Игорь пошел нарасхват. Стал мелькать то тут, то там в одном и том же образе. Плоская кепочка как будто прилипла к его голове.

Однажды кому-то пришло в голову снять Мишаткина в маленькой роли белого офицера. Та же гримерша Валя клала на лицо тон посветлее, сообщая благородную бледность. Игорь сидел и смотрел на себя в большое зеркало: умное лицо с аскетически запавшими щеками, легкая надменность дворянина и страдание за поруганную Родину. Валя легко касалась лица гримерной губкой. От губки пахло псиной.

Фильм о первых годах революции вышел на экран — и у артиста Мишаткина пошла офицерская серия.

Далее из восемнадцатого года Игорь шагнул в сорок первый, в образ немецкого офицера. Безукоризненная опрятность, пенсне, жесткость в глазах. Враг.

Покатилась «немецкая» серия. Его лицо клишировалось на потоке фильмов, как одноразовая зажигалка на конвейере. Игорь понимал это, но не мог отказаться от следующего клише. Многолетний простой сломал его. Он соглашался, но при этом чувствовал себя как девка, которую употребляют за деньги. Игорь пил, чтобы притушить лермонтовский комплекс: разлад мечты с действительностью.

Пока артист Мишаткин мыслил и страдал, Эля вязала комплекты: шапочки и шарфики. Она покупала в магазине английский мохер и делала в день по комплекту. На шапочках той же шерстью вышивала цветы из четырех лепестков. Получалось очень красиво.

Катя Минаева сбывала комплекты среди своих по пятьдесят рублей. Часть брала себе. Остальное — Эле. На эти деньги жили.

Мама Игоря смотрела на Элю, как Золушка на фею. Взмахнет хрустальной палочкой — и из воздуха возникает все, о чем мечталось. «Р-раз» — и работа! Игорь снимается. У него есть дело.

«Р-раз» — квартира. А ведь это так удобно не жить с молодыми в одной комнате.

«Р-раз» — индюшачьи котлеты на обед. Можно, конечно, насытиться чем угодно, желудок не обидится. Но провернутое белое мясо...

— Эля! Вы великий человек,— с убеждением говорила мама Игоря.— Вы можете приспособиться в любых условиях.

— Как ленточный глист,— добавлял Игорь, убивая пафос.

Ленточный глист живет в человеке, и, если его выгнать и зарыть в землю, он живет в земле.

Игорь не любил эти разговоры. Да, квартира. Да, работа. Но при чем тут Эля? Он снимается потому, что талантлив. А квартиру ему дали потому, что он в ней родился и жил сорок лет. И две комнаты на трех человек нормально. И даже мало. При чем тут жена? Ах, она бегает, встает на уши. Но он же не виноват, что ему досталось такое время и такая страна, где за норму надо вставать на уши. Она умеет, а он не умеет. Он, Игорь Мишаткин, художник и не должен тратить на это свою жизнь.

Мама Игоря считала: Эля — тоже художник, просто у нее другие подручные средства. У Игоря — литература. Игорь произносит чужие тексты и лепит образ. А Эля лепит саму жизнь. Берет одну жизнь и лепит из нее другую.

Что касается Эли, она не рассуждала столь абстрактно: надо было подтягивать жизнь к мечте. Не получалось. Мешала водка. Водка — это такой конь, который перетопчет любое поле: хоть сей, хоть не сей.

Эля решила взять фактор пьянства под контроль. В каждой группе у нее были свои люди. И если Игорь, находясь на съемках, опрокидывал рюмку, в доме Эли тут же раздавался телефонный звонок.

Игорь в неведенье счастливом возвращался домой, звонил в дверь. На всякий случай старался не дышать вперед и выстраивал на лице значительное выражение. Дверь открывалась, и навстречу Игорю летел кулак, прямо в значительное выражение. Резкая боль в носовую кость. Искры из глаз. Так повторялось каждый раз. Сначала — кулак. Потом — разборка: с кем, почему, по какой причине. Причина всякий раз была уважительная.

Игорь стал элементарно бояться, срабатывала сигнальная система, как у подопытной собаки. Водка связывалась в одну прямую с искрами из глаз. Игорь резко сократил свое пьянство.

Мама Игоря начала серьезно пересматривать жизненные позиции. Как можно бить человека по лицу? Но если во благо, значит, можно? Значит, надо?

Может быть, трагедия их поколения в неумении постоять за себя? В излишней деликатности?

В Москве Игорь почти не пил. Он стал лучше себя чувствовать и понял, почему бездарности завоевали мир. Они с самого утра хорошо себя чувствуют и тут же принимаются за карьеру. Но как только Игорь выезжал с группой в другой город — там он, что называется, дорывался. И однажды, вернувшись домой, попросился в темную комнату.

Эля ничего не поняла и отвела его в ванную.

Игорь напряженно смотрел на дверь и вдруг сказал:

— Проходите.

Дверь в ванную была прикрыта. У Игоря возбужденно блестели глаза.

— Никого же нету,— сказала Эля.

— Потуши свет, а то нас найдут.

Он сидел на краешке ванны и чего-то боялся. Эля поняла: кулаками не поможешь. Его надо лечить.

Семейство Минаевых, у которых в этой жизни было схвачено ВСЁ на все случаи жизни, порекомендовали врача, который лечил высокопоставленных алкоголиков, писателей и артистов.

Врач и сам был слегка сумасшедший, во время сеансов любил обряжаться, как шаман, напускал туману. Но поскольку алкоголизм — заболевание психическое, то им — врачу и пациенту — было легче найти общий язык.

Врач лечил Игоря гипнозом. Метод его Эле был неведом. Суть метода состояла в том, что блокировался участок мозга, который заведует волей. Оказывается, алкоголизм — это болезнь воли и, значит, волю надо держать под кнутом, как скота, а не уговаривать ее, как капризного ребенка. При этом методе категорически запрещалось пить, иначе помрешь в одночасье.

Желание жить оказалось в Игоре сильнее желания пить. Инстинкт жизни победил все прочие инстинкты.

Мама Игоря не могла поверить в такое преображение. Игорь был трезв, здоров, много работал. А еще совсем недавно ей казалось: она его теряет. Она боялась, что сын умрет раньше нее,— это был самый главный, верховный страх, который леденил душу, к нему нельзя было привыкнуть.

А сейчас — какая перемена в жизни! Мама смотрела на Элю молитвенным взором и спрашивала:

— Деточка, за что мне такое счастье?

— За прошлые страдания,— отвечала Эля.— Закон компенсации.

— Я так боюсь, что все кончится,— говорила мама и сжимала кулачки, чтобы удержать это время.

Все были счастливы, кроме Игоря. На его лице остановилось брезгливое выражение, будто он преодолевает дурной запах. Игорь был постоянно угнетен без видимых причин. Будто сглазили человека.

— Ему тяжело не пить,— объяснял врач.

— Но что же делать? — терялась Эля.

— Ничего не делать, из двух зол надо выбирать меньшее.

И в самом деле: пусть Игорь будет хмурый трезвый, чем хмурый пьяный.

Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Видимо, у дела, как у палки, существуют два конца. И если на одном конце ты творишь добро, то на другом — копится зло. И ударяет тебя в самое неподходящее время.

В каждой группе у Эли были свои люди. И вот эти люди, которые сообщали о пьянстве, донесли еще об одном пороке. В простонародье это именуется хлестким словом из восьми букв, где на шесть согласных приходится всего две гласные. В библии сей порок обозначался красивым продолжительным словом «прелюбодеяние». Короче говоря, у Игоря появилась в группе любовница. Она его не била. Она его понимала настолько, что даже пила вместе с ним.

Прослышав о любовнице, Эля приготовила кулак, а мама Игоря — тщательную нотацию. Но ни кулак, ни нотация не понадобились. Игорь сразу же во всем сознался и, похоже, ни в чем не раскаивался.

— Да,— подтвердил он.— А что, нельзя?

— Нельзя,— сурово сказала мама.— Надо иметь совесть.

— Надо иметь чувство,— поправил Игорь.— А совесть тут не играет. Я влюбился.

— А что же мне делать? — растерялась Эля.

— Сходи за молоком.

Эля так и сделала. Она оделась, взяла сумку и пошла в магазин.

В воздухе парил крупный снег. Он не падал, а, казалось, стоял на месте. В природе было красиво, только вальса Штрауса не хватало. Но Эля ничего не видела вокруг себя. Ее ослепило и оглушило. В такие минуты набегает счет. Что она ему дала: работу, жилье, здоровье и даже новую любовницу. Прошлый Мишаткин — нищий запьянцовец, почти бомж — не мог бы внушить хоть сколько-нибудь стоящего чувства и отношения. Это она его отмыла, выпрямила, поставила на стержень. И вот расплата.

Но разве она сама не платит по счетам? Она кинула Толика на ржавый гвоздь. Теперь кинули ее. Все поровну, все справедливо. Закон компенсации. Старуху жалко.

Эля вытерла нос мокрой варежкой. Она не замечала, что плачет. А когда заметила — остановилась. Куда, собственно, идти? За молоком? А зачем оно? Зачем вообще все?

Крупный снег объединял небо и землю и неподвижную Элю.

В отдалении возвышался бронзовый Гоголь, ему намело на голову целую шапку. Большая ворона села на Гоголя, утопив лапы в снегу. Эля подумала, что сейчас ворона перелетит на нее. Решит, что она еще один памятник.

Длинная черная машина остановилась против Эли. Из нее высунулся «папашка» с наполовину лысой головой и спросил на почти русском языке:

— Подвезти? — Видимо, это слово он выучил.

Эля не сразу поняла, что он хочет.

— Подвезти? — повторил Папашка.

Эля сняла с головы шапку, которую она сама себе связала в прошлой жизни, резким движением стряхнула с нее снег. Сказала:

— Подвезти.

Папашка оказался представителем западной фирмы. Работал в Москве по контракту.

Фирмач в Москве имеет жизненные преимущества: еда — в продуктовых «Березках», одежда в долларовых магазинах, машина иностранной марки, Большой театр и красивые женщины.

Папашкина квартира находилась на Кутузовском проспекте, занимала половину этажа. Стены белые, крытые водоэмульсионной краской, а на стенах картины — русский авангард тридцатых годов. Папашка понимал толк в живописи.

Эля провалилась из развитого социализма прямо в капитализм.

А Папашка провалился из своих пятидесяти двух лет прямо в молодость.

Папашка — вдовец. Его жена Паола умерла десять лет назад. Папашке тогда не хотелось жить. Потом стало все равно. Жил по инерции, по привычке жить. Впервые тянулась мгла одинаковости.

Эля как две капли воды оказалась похожа на Паолу — только моложе и красивее. И Папашке показалось: вся жизнь впереди. Может, не вся, вторая ее глава, наиболее существенная в сюжете жизни. А в общем, какая разница, когда хочется жить.

Уходя на работу, Папашка оставлял список продуктов и кошелек с твердой валютой. Эля отправлялась в продуктовую «Березку». В магазине — вся еда, какая бывает в мире. И не в праздничных заказах, а так. Бери — не хочу. Эти магазины среди Москвы как острова капитализма. Поражали метровые осетры, какие она видела только в исторических фильмах на пирах Ивана Грозного. Банки с икрой лежали штабелями. Иностранцы не торопились их покупать. Поговаривали, что из-за экологии в икре ртуть, а осетры болеют рыбьим СПИДом.

Папашка любил сам накрывать на стол. Тонко резал на доске сыры, потом украшал зеленью, вырезал из перца звездочку, из апельсина — хризантему. Будучи голодным, он тратил на эти приготовления по полчаса, но иначе он не ел. И так же относился к любви: долго, подробно, обстоятельно.

Эля обнимала Папашку, но мысли ее были далеко. В долларовой «Березке».

Она искала себе плащ. И нашла. И он ударил ее в сердце. И она его купила. А когда принесла домой — выяснилось: не идет. Оливковый цвет убивает. Понесла и поменяла. На светлый и длинный. Вернулась домой и посмотрела внимательнее — оказалось, что слишком светлый и слишком длинный. Подкоротила. Испортила. Все, плащ пропал. На другой денег не дадут.

Эля не спала две ночи, просыпалась в кошмаре. Пыталась себя утешить: ну что такое плащ? Мануфактура. Не более. Но тут же находила прямую аналогию между мануфактурой и жизнью: нашла Толика. Поменяла на Игоря. Укоротила. Теперь сидит в квартире с белыми стенами, как в сумасшедшем доме.

Эля подарила плащ маме Игоря.

— Деточка, а я не старая для такой вещи? — усомнилась мама.

— Старых женщин не бывает,— объяснила Эля.— Бывают продвинутые в возрасте.

— А куда я это надену?

— А куда вы ходите?

— В магазин.

— Ну, значит, в магазин.

Мама Игоря поглаживала плащ, будто он был живой.

— У меня никогда не было такой красивой вещи,— созналась она.— А как его зовут?



Последний вопрос относился к Папашке.

— Норберт,— вспомнила Эля.

— Какое замечательное имя! Вы его любите?

— Что значит «любите»? — притворно не понимала Эля.— Хочу любить и люблю.

Эля хотела полюбить Папашку, но мешала «персияна». Персияна — это манто из бежевато-розового каракуля, должно быть, крашеного, ибо розовых овец не бывает даже в капитализме. Перламутровый туман мечты поднимался в Элиной душе: пройти бы в такой шубе мимо Ильи, мимо Верки-разводушки.

Эля намекнула Папашке о персияне. Папашка тут же резонно заметил, что буржуазность не модна. Сейчас в моду вошли русские ватники, которые продаются в магазине «Рабочая одежда» и стоят одиннадцать рублей русскими деньгами. Они, правда, тяжеловаты, поскольку на вате, но без синтетики. Чистый хлопок.

Эля выслушала Папашку и сказала:

— Жмот.

Папашка согласился и объяснил причины своей жадности: он живет на проценты с капитала, а основной капитал не трогает.

Эля заметила, что для Папашки деньги — это занятие и хобби. Больше, чем деньги, он любил только свою дочь Карлу, двадцатилетнюю телку. И, как догадывалась Эля, именно для нее он и приберегал основной капитал.

Папашка был вдовец. Значит, Карла — сиротка. Та сиротка, судя по фотографиям, была ростом под два метра, волосы коротко стрижены и зачесаны назад, как у Сталина. Занималась медитацией и умела летать — в смысле висеть над полом.

Жили, слава богу, врозь. Папашка — в Москве. А Карла — на Западе, в загородной вилле вместе со своим любовником-наркоманом. И сама наркоманила за милую душу. Видимо, в эти моменты она и летала.

В день рождения Папашка купил Эле кофточку — черная ангора, шитая золотом. Катя Минаева замерла от шока. Но Эля знала: ей — кофточку, а Карле — маленький «фольксваген» с автоматическим управлением. Русские мужья дарили ерунду: коробку мармелада, букет цветов,— но дарили на последние деньги. А Папашка — на проценты с капитала. У него даже пальцы жадные, и он все время их нюхает: во время работы, во время еды. Невроз навязчивой привычки.

В Эле копилась духота.

И однажды сверкнула молния, и грянул гром.

Эля потребовала от Папашки путешествия по Союзу. Она нигде не была, кроме города своего детства, Летичева и Москвы. А существует еще Азия с Хивой и Бухарой, Грузия с горой Мтацминда, где захоронен Грибоедов, Армения с Эчмиадзином, где лежит кусочек Ноева ковчега. Да мало ли чего существует...

Папашка легко согласился, видно, ему и самому хотелось попутешествовать. Но в сюжет неожиданно вмешался любовник Карлы.

Там, у себя на Западе, на своей улице, он зашел в кафе, напился до чертей и метнул бутылкой в витрину бара, и теперь придется оплатить хозяину нанесенный ущерб.

Папашка горько посожалел о незапланированной трате. Он собирался вложить эти деньги в путешествие, а теперь все отменяется. Вот, оказывается, от чего зависит Эля: от того, как поведет себя в баре любовник Карлы, что взбредет в его наркоманскую голову. Эля затряслась и заорала на Папашку по-русски и даже по-татарски, поскольку утверждают, что русские нецензурные слова имеют татарское происхождение. Папашка ничего не понял, но это и необязательно, ибо все было ясно из выражения Элиного лица. Такого лица никогда не было у его жены Паолы. Папашка вдруг понял, что прошлая жизнь, счастье ушли навсегда. Русская женщина с волосами светлыми, как луна, не стала ему близкой. А Паола умерла. И можно отдать не только проценты, но и основной капитал,— Паолу не вернуть. А он бы отдал. Босой и бездомный вышел бы на площадь, но с Паолой. Она не была так молода и так красива, как русская. Но она была ЕГО. А эта — чужая. Не считается ни с чем, что дорого: ни с его деньгами, ни с дочерью, ни с ее сложной жизнью. Не понимает и не хочет понять.

Папашка заплакал. Эля замолчала. Ее вдруг пронзила мысль, что он и она — люди на разных концах земли — потерпели кораблекрушение. И из двух обломков хотят составить один корабль, чтобы продержаться на волнах. А обломки не стыкуются. У них разные края. Они плачут.

Эля обняла Папашку и заплакала сама. И в этот момент в них обоих проснулось человеческое.

Эля вышла за него замуж.

Регистрировались в загсе специально для иностранцев — красивом старинном особняке. Это тоже входило в жизненные преимущества.

Тетка с широкой лентой вокруг обширного тела изображала из себя фею с хрустальной палочкой. Она держала в руках пластмассовую указку и говорила торжественное. Папашка неожиданно рассмеялся. Тетка сбилась и замолчала. Эля испугалась, что все расстроится. Но обошлось.

Всю субботу пекли пироги, а все воскресенье их ели. Пироги были с яблоками, с вишнями, и вот эти, с вишнями, были особенно вкусными.

Верка растолстела после двух родов, стала какая-то сырая, как непропеченный хлеб. Подарки приняла с благодарностью, но в глазах Эля уловила разочарование: «Миллионерка, могла бы и больше привезть».

В глазах Кислючихи Эля читала: «Вот ты не схотела, а Толик себе еще лучше нашел. Сиди теперь со своим барахлом, а мы будем с дитями».

Эля привезла Кислюкам прибор для измерения давления, поскольку оба были склонны к гипертонии. Прибор — вещь дорогая и незаменимая. Утром смеришь давление и знаешь, на каком ты свете — на этом или ближе к тому. Если что не так, принимаешь таблетку и живи дальше.

Кислюк обрадовался, как ребенок, а Кислючиха вроде и не заметила.

Толику Эля привезла кожаную куртку, а Кирюшке — по мелочи: доехать до нового дома. Однако Кирюшка сразу заявил, что никуда не поедет, потому что дружит с Гошей.

У Кислючихи настроение повысилось, а у Эли — упало.

— Что же делать? — растерянно спросила она и посмотрела на Толика.

— Пусть вырастет, потом выберет,— сказал Толик.

— Нечего гонять по свету, как сухой лист,— строго осадил Кислюк.— Человек должен жить, где родился.

— Это почему? — спросил Толик.

— Потому, что здесь дом. Земля.

— Научили вас...— заметил Толик.

— А вас чему научили? — встряла Кислючиха.

Эля поднялась. Вышла на крыльцо. В темноте лежала та же самая свинья, а может, другая. В небе — та же звезда.

Эля закурила.

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу. Эля вспомнила Игоря, его зависимость. И что же? Игорь ждет ребенка. И Толик живет, не умер. А что бы она хотела? Чтобы они голову пеплом посыпали?

Где-то недавно читала, что военный летчик на большой высоте потерял сознание. Самолет летел без руля и без ветрил, как летучий голландец. Мог врезаться в другой самолет, мог упасть на землю. Но он блуждал, качаясь в воздушных потоках. Потом летчик пришел в себя и посадил машину на военный аэродром.

Так и ее жизнь, как неуправляемый самолет. Что-то с ней будет? Куда ее занесет?

Толик вышел. Остановился за спиной.

— Может, твоя мать права? — спросила Эля.— Надо было нарожать детей и поднимать их для жизни. Как Верка.

— Ты же не Верка,— ответил Толик.

Помолчали.

— Ты когда отваливаешь? — небрежно спросил Толик, скрывая за небрежностью большую печаль большой разлуки.

— Через месяц. У него кончается контракт.

— А ТАМ как вообще? — поинтересовался Толик, имея в виду западную жизнь.

— Там работать надо,— ответила Эля.— И всем на всех плевать.

— Здесь тоже плевать,— грустно сказал Толик.

Вышла Верка, держа ребенка на выпученном животе.

— Засыпает,— сказала она и передала Толику сонную девочку.

Толик принял ребенка на грудь. Верка заботливо поправила ручки, ножки, как будто налаживала на Толике пуленепробиваемый жилет.

Улетали с «Шереметьево-два».

Аэропорт был похож на раскинувшийся цыганский табор. Раскладушки, чемоданы, узлы и ожидающие сгорбленные спины, похожие на узлы. Не хватало только шатра и костра.

Эля заметила: в условиях вынужденного ожидания люди стараются жить, организовать свой досуг. Мужчина и мальчик играли в шахматы. Старуха в шерстяных носках лежала на раскладушке с покорным лицом. Казалось, ей безразлично, где ждать смерти: дома, в аэропорту или там, куда ее везут. А везут ее потому, что нельзя бросить и некуда деть.

Папашка привычно заполнял декларации. Эля озиралась по сторонам: все это напоминало массовый исход. Среди отъезжающих много прибалтов и армян. Она почему-то считала, что уезжают только евреи. В Израиль и в Америку. Израиль — историческая родина, а Америка — вселенское общежитие.

Эля не выдержала и спросила блондинистого парня в летней кепке из нейлоновой соломки:

— Ребята, а вы чего едете?

Тот хмуро посмотрел глазами в воспаленных веках и не ответил.

Эля и Папашка прошли за стеклянную перегородку, которая отделяла провожающих.

Папашка прошел за стеклянную перегородку, которая отделяла провожающих.

Папашка сдал багаж.

Встали в не длинную, но медленную очередь.

Молодой парень в пограничной форме сидел в большой коробке за стеклом, как флакон в футляре. Строго изучал паспорта. Изучив, проверив визу, он дерзко взглядывал на обладателя паспорта, рассчитывая смутить человека в том случае, если у него нечиста совесть: если он провозит наркотики или оружие. Такой человек чувствует себя неуверенно и от взгляда начнет нервничать и выдаст себя с головой.

Люди бесстрашно встречали всевидящий взгляд, показывая, что им нечего бояться. И шли дальше, за дверцу, где уже начиналось другое бытие, которое определяло другое сознание.

Перед Элей стоял армянин. Чуть в стороне на узле сидела крошечная старушонка, похожая на черный ссохшийся корень. Она мелко тряслась — не то от холода, не то от ветхости — и могла только сидеть. Или лежать.

— Старуху покажите,— велел пограничник.

— А чего ее показывать? — удивился армянин.

— Мы должны видеть лицо.

Армянин шагнул к старухе. Приподнял ее под мышки, как ребенка.

Пограничник глянул в лицо — не лицо живого существа — и быстро опустил глаза.

— Идите,— разрешил пограничник.

— Ануш! — раздраженно позвал армянин.

Ануш — молодая женщина — стояла в стороне и смотрела, прищурившись, закинув голову. Там, куда она смотрела, за стеклянной чертой стояла половина ее улицы — друзья и родственники. Они сбились в табунок, смотрели на Ануш молча и мрачно, как будто прощались с покойником. Только покойник был живой.

Ануш впечатывала их лица в свою память.

Армянская семья задерживала очередь. Но их никто не торопил. Очередь подавленно молчала. Ждала.

— Ануш! — снова позвал армянин, опустив старуху. Она тут же села на пол.

У Эли на глаза навернулись слезы.

«Илья»,— подумала она. Все плохое и несправедливое в жизни она связывала с Ильей. Хотя, видит бог, к Карабахскому вопросу Илья никакого отношения не имел.

Папашка довез Элю от памятника Гоголю до маленького европейского городка.

Весь городок можно объехать за полчаса. В центре ратуша и публичный дом.

Три девушки, работающие в нем, висели в окнах, для удобства положив под грудь подушки. Четвертая прогуливалась внизу и мерзла от худосочия.

Эля привыкла их часто встречать и здороваться. Они отвечали. Девицы были не шикарные, как в кино, а весьма обычные деревенские девахи, похожие на Верку-разводушку в молодости.

Папашка много работал, уставал и мало разговаривал. А когда говорил — только о деньгах.

Раз в неделю заявлялась Карла. Она открывала холодильник и зло спрашивала:

— Ты что, отца вчерашними яйцами травишь?

На яйцах было проставлено вчерашнее число.

Каждую субботу и воскресенье ездили на уик-энд к родителям Папашки. Они жили в провинции в собственном доме.

Старику было восемьдесят лет, а старухе — восемьдесят два. Из ума не выжили, да это и не важно. Эля все равно плохо знала язык и не понимала, о чем они говорят.

Старуха к приезду сына и невестки шла в соседнюю кондитерскую и покупала готовые пирожные с живыми ягодами: ежевикой, малиной, клубникой. Внизу узкий слой слоеного теста, сверху взбитые пресные сливки в три пальца высотой, а на них живые ягоды. И все это в тончайшей пленке желе, чтобы не разъезжалось.

Эля не могла удержаться и съедала четыре куска. Живот растягивался, подпирал диафрагму, было трудно дышать.

Эля вылезала из-за стола, прямо из комнаты выходила в сад покурить.

Участок перед домом был крошечный, куриный, но со стриженой травкой. На травке — полосатые шезлонги. Столик. На столике — фарфоровая свинья в широкой юбке и шляпке.

Когда-то уже было все это: та же тяжесть в теле, та же тоска, та же свинья. Только та была настоящая, а эта глиняная. И Карла вместо Кирюшки.

Стоило ехать так долго и многоступенчато, чтобы прибыть в ту же самую точку.

Муж курил за спиной, держа сигарету у лица, и, казалось, нюхал пальцы.

Юрий ГАВРИЛОВ

ВОЛЯ НАРОДА?

ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Идя на заседание (открытие Учредительного собрания.— Ю. Г.), Владимир Ильич вспомнил, что он оставил в пальто револьвер, пошел за ним, но револьвера не оказалось, хотя никто из посторонних в прихожую не входил, очевидно, револьвер вытащил кто-то из охраны. Ильич стал корить Дыбенко и издеваться над ним, что в охране нет никакой дисциплины; Дыбенко волновался. Когда потом Ильич пришел с заседания, Дыбенко возвратил ему револьвер, охрана вернула.

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине.

Созыв Учредительного собрания — самая заветная, самая желанная, самая естественная цель освободительного движения России. Идея Учредительного собрания имела глубокие национальные и исторические корни и проистекала, несомненно, из векового опыта всесословных Земских соборов, с XVI века решавших на Руси важнейшие вопросы государственной жизни. Земские соборы выносили постановления о войне и мире, Земский собор утвердил воссоединение Украины с Россией, Земский собор избрал на царство династию Романовых...

Принцип соборности справедлив и демократичен, он привлек и декабристов, мечтавших о Великом соборе, и народовольцев, которые собирались передать после крушения самодержавия власть Земскому собору с правами Учредительного собрания.

Великий князь Михаил Александрович, в пользу которого Николай II отрекся от престола, в своем манифесте заявил, что может принять корону только из рук Учредительного собрания, выражающего волю нации, впервые в истории страны избранного на основании всеобщих, прямых, равных выборов при тайном голосовании.

Формально главной задачей Временного правительства считался созыв Учредительного собрания.

Учредительное собрание было программным требованием всех социалистических партий — эсеров, большевиков, меньшевиков, украинских, татарских, закавказских и других национальных социалистов.

Созыва Учредительного собрания народ требовал еще в годы первой русской революции, и этот лозунг весной 1917 года стал так популярен, что с ним выступали кадеты и были вынуждены считаться другие буржуазные партии. Ни одна заметная политическая группировка в России не осмеливалась открыто выступить против созыва Учредительного собрания и передачи ему всей полноты власти.

13 марта 1917 года было создано Особое совещание по подготовке закона о выборах в Учредительное собрание. Председателем комиссии был назначен кадет Ф. Ф. Кокошкин, в числе сотрудников комиссии был большевик М. Ю. Козловский, затем его сменил П. А. Красиков.

В постановлении Временного правительства от 19 марта 1917 года провозглашалось: «Первейшим из первых... является земельный вопрос, решение которого составляет самую серьезную социально-экономическую задачу переживаемого ныне исторического момента. Заветная мечта многих поколений всего земледельческого населения страны — земельная реформа — составляет основное требование программ всех демократических партий. Она, несомненно, станет на очередь в предстоящем Учредительном собрании».

Для подготовки земельной реформы Временным правительством при Министерстве земледелия был образован комитет, задачей которого стало уточнение земельного кадастра и выяснение того, какие виды и условия землепользования существуют в стране.

20 марта Временное правительство отменило национальные и вероисповедные ограничения, еще раньше оно признало конституцию Великого княжества Финляндского и независимого Польского государства. Однако постановление о территориальном выделении Польши из состава бывшей Российской империи было отложено до Учредительного собрания.

«Разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и ее окончанием», Временное правительство так же пре-



Похороны жертвъ павшихъ 5 Января 1918г. въ день открытія Учредительнаго Собранія. Петроградъ 9 Января 1918г.

Демонстрация за скорейший созыв Учредительного собрания. Ноябрь. 1917.

Избирательная комиссия по выборам в Учредительное собрание. В центре — Н. И. Бухарин. 1917.

Накануне открытия Учредительного собрания. Петроград. 1918.







доставляло «воле народа» — Учредительному собранию.

Итак, Учредительное собрание должно было установить основы государственного устройства России, землепользования, решить национальный вопрос и заключить справедливый мир, то есть увенчать победившую революцию торжеством закона и порядка.

Крестьянство России составляло подавляющее большинство населения.

Это обстоятельство могло оказаться решающим и для основополагающих законов, которые предстояло принять Учредительному собранию.

В ходе многолетней и кропотливой работы эсеры собрали большое количество крестьянских пожеланий о землеустройстве. 242 наказа Советов крестьянских депутатов на местах были сведены в единый Крестьянский наказ о земле, который составил основную часть Декрета о земле. Наказ этот начинался словами: «Вопрос о земле, во всем его объеме, может быть разрешен только всенародным Учредительным собранием». Российское крестьянство намеревалось отменить навсегда частную собственность на землю и узаконить таким образом устои крестьянского социализма с его основным принципом: земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает, и каждый питается от трудов рук своих. Анархистов, утверждавших, что крестьянину не нужен ни поп, ни чиновник, в деревнях было немного, крепкие хозяева предпочитали прочный порядок: они желали, чтобы земля перешла к ним по закону, а то, что ее достаточно для всех желающих на ней работать, именно работать, а не владеть ею на любых основаниях, крестьяне знали из опыта.

«Права Учредительного собрания окончательно установить всенародную собственность на землю и условия распоряжения ею мы нисколько не отрицаем»,— писал В. И. Ленин в «Письме к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов» в мае 1917 года.

Судя по всем опубликованным высказываниям Владимира Ильича, до осени 1917 года его больше всего волновало, что буржуазия либо вообще не выполнит своего обещания созвать Учредительное собрание, либо воспользуется тактикой проволочек, без конца откладывая и перенося срок выборов в надежде на спад революции.

«Созыв Учредительного собрания обещан Временным правительством еще первого состава. Оно признало главной своей задачей доведение страны до Учредительного собрания. Временное правительство второго состава назначило срок созыва Учредительного собрания на 30 сентября. Временное правительство третьего состава, после 4 июля, торжественнейшим образом подтвердило этот срок».

«Учредительное собрание в современной России даст большинство крестьянам более левым, чем эсеры. Это буржуазия знает. Зная это, она не может не бороться самым решительным образом против скорого созыва Учредительного собрания».

Таким образом, Ленин, как мы видим, пришел к важнейшему политическому утверждению: большинство Учредительного собрания будет «левее эсеров», то есть, иными словами, большинство Учредительного собрания будет на стороне социализма.

Большевиков и Ленина, с июля находящегося в подполье, такое, «левее эсеров», Учредительное собрание устраивало. Лозунг «Вся власть Советам!» был снят, и разгром корниловщины происходил под общенациональным призывом «Вся власть Учредительному собранию!».



День открытия Учредительного собрания. Манифестация у Таврического дворца. 5 января 1918.

Однако, когда в сентябре влияние большевиков в крупных городах возросло и упрочилось, Ленин заговорил по-другому:

«И Учредительного собрания «ждать» нельзя, ибо той же отдачей Питера Керенский и К° всегда *могут сорвать* его. Только наша партия, взяв власть, может обеспечить созыв Учредительного собрания и, взяв власть, она обвинит другие партии в оттяжке и докажет обвинение».

Это писалось не для широкой публики — для членов ЦК; понятно, что утверждение, будто непременным условием созыва Учредительного собрания является переход власти к партии большевиков (к партии — не к Советам! — **Ю. Г.**), есть теоретическое обоснование вооруженного восстания и государственного переворота.

Все партии, в том числе и большевики, готовили и корректировали партийные списки, по которым должно было проходить всенародное голосование. Но вместе с тем у В. И. Ленина в отношении к Учредительному собранию начинали проступать черты двойственности:

«Неужели трудно понять, что *при власти* в руках Советов Учредительное собрание *обеспечено* и его успех обеспечен? Это тысячу раз говорили большевики. *Никто* ни разу не пытался опровергнуть этого».

«Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу».

Между двумя этими утверждениями лежит неделя. Мысль Ленина можно понять только так, что именно власть Советов способна гарантировать созыв и успех Учредительного собрания, «которое явно будет не с нами». Информация к размышлению, как ныне говорят.

Выборы в Учредительное собрание из-за огромных организационных трудностей были вновь перенесены, на сей раз на 12 ноября.

А уже в конце октября — начале ноября 1917 года власть во многих крупных городах оказалась в руках большевиков.

Казалось, вопрос об Учредительном собрании должен бы вообще быть снят с повестки дня. Однако на II съезде Советов Ленин заявил, что в случае поражения большевиков на выборах в Учредительное собрание они уступят «воле народа». До III съезда Советов (он начал свою работу 10 января 1918 года), утвердившего постановление «О новом обозначении существующей верховной государственной власти», Советское правительство называлось Временным рабоче-крестьянским правительством «впредь до Учредительного собрания». Впрочем, обещание Ленина уступить «воле народа» изначально было политическим маневром.

«Огонек» уже касался вопроса о судьбе и значении Учредительного собрания, поместив на своих страницах статью В. Костикова «Сапоги из шагреневой кожи» («Огонек», 1989 г., № 32) и ответ на нее В. Миллера («Огонек», 1989 г., № 36). В. Миллер, справедливо указав на досадные фактические неточности в публикации В. Костикова, обвинил своего оппонента в том, что тот бежит в кроссовках вслед исторической моде, а точку зрения Костикова на события 1917—1918 годов охарактеризовал как «неовеховскую», то есть кадетскую.

Сказано сильно, но неточно. Никакой особой моды на кадетов в прошлом, 1989 году в России не наблюдалось, да и взгляд Костикова на Учредительное собрание отнюдь не кадетский, он просто неортодоксальный. До недавнего времени такая оценка событий в нашей исторической науке не допускалась ни под каким видом, а обвинение в симпатии к кадетам вместе с неизбежными приложениями «прихвостень» и «лакей» равнялось волчьему билету.

Позиция самого В. Миллера, можно сказать, «классическая»: Учредительное собрание желало свержения Советской власти, его поддерживали те, кто ненавидел большевиков, и «просто обыватели».

Неужели В. Миллеру неведомо, к чему привело нас пренебрежение интересами и мнением миллионов «просто обывателей»?

Суть утверждений В. Миллера и его единомышленников проста: в январе 1918 года история предложила выбор — либо Советская власть, либо Учредительное собрание, то есть либо революция, либо контрреволюция...

Такая точка зрения опирается, видимо, на известное высказывание В. И. Ленина:

«Учредительное собрание старого образца и референдумы старого образца ставили своей задачей объединить волю всей нации и создать возможность дружно жить волкам и овцам, эксплуататорам и эксплуатируемым. Нет, мы не хотим этого».

Выбор между гражданским миром и гражданской войной, между демократией и диктатурой был сделан.

...Учредительное собрание должно было открыться в Петрограде 28 ноября. 26 ноября Совнарком принял постановление, согласно которому оно могло быть открыто при наличии более чем 400 депутатов. Таким образом, было выиграно необходимое время для ареста неугодных народных избранников и для подготовки разгона Учредительного собрания.

Рано утром 28 ноября во время ареста графини С. В. Паниной[1] с ней «за компанию» были задержаны и отправлены сначала в Смольный, а затем в Петропавловскую крепость члены ЦК кадетской партии А. И. Шингарев и Ф. Ф. Кокошкин. Им не было предъявлено никакого обвинения, и только в 12 часов ночи их ознакомили с декретом, объявлявшим всех кадетов врагами народа, подлежащими суду революционного трибунала.

Ленин так объяснял нападение на кадетов:

«...Мы выдвигаем прямое политическое обвинение против политической партии. Так поступали и французские революционеры. Это — наш ответ тем крестьянам, которые выбирали, не зная, кого выбирали».

Ко второй половине декабря кворум Учредиловки наконец был собран.

В Учредительное собрание народ избрал 715 депутатов: эсеров — 412, большевиков — 183, меньшевиков — 17, от национальных групп — 81, кадетов — 16, народных социалистов — 2, партийная принадлежность четырех депутатов неизвестна. Среди эсеров левых было 30 человек.

20 декабря Совнарком принял решение открыть Учредительное собрание 5 января 1918 года.

1 января 1918 года машина, в которой ехал Ленин, была обстреляна неизвестными лицами. Никто в автомобиле не пострадал (пулей оцарапало Фрица Платтена). «Правда» опубликовала сообщение о покушении 3 января, сообщение начиналось недвусмысленным предупреждением: «Берегитесь!». Далее говорилось: «За каждую голову наших *они* будут отвечать сотней голов своих».

В этот же день, 3 января, ВЦИК, где у большевиков был абсолютный перевес голосов, принял постановление, написанное Лениным: «...Всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваема, как контрреволюционное действие. Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении Советской власти средствами, вплоть до применения вооруженной силы».

[1] С. В. Панина — виднейшая деятельница российской благотворительности, во Временном правительстве — товарищ министра просвещения. Она отказывалась передать оставшиеся у нее 93 тысячи казенных денег наркому А. В. Луначарскому, заявив, что передаст их законно избранному Учредительному собранию.

Судьба Учредительного собрания была решена.

«Союз защиты Учредительного собрания», созданный в декабре 1917 года, был организацией немощной и не мог стать массовым объединением потому, что население психологически неспособно было понять, что страна стоит на пороге мощного взрыва, что тлеющий костер гражданской войны через считанные месяцы превратится во всепожирающий пожар.

Утром 5 января по улицам Петрограда двинулась к Таврическому дворцу главная колонна демонстрации численностью (по оценке современников, на глазок) 60 тысяч человек. На углу Невского и Литейного и в районе Кирочной улицы демонстрация была расстреляна солдатами; имелись убитые и раненые.

Все же перед Таврическим дворцом собралась огромная толпа с лозунгами «Вся власть Учредительному собранию!».

Начало заседания откладывалось: были заняты разгоном демонстрации. Накануне был создан специальный штаб, куда вошли В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, Н. И. Подвойский, М. С. Урицкий и другие.

Эсеры решили, по парламентской традиции, предоставить право открыть Учредительное собрание старейшему депутату-эсеру С. П. Швецову, но Совнарком установил иную процедуру — выступить первым было поручено Я. М. Свердлову.

На трибуне оказались сразу два оратора. Шум в зале стоял невероятный. Швецов оказался крепким стариком с могучим голосом, он прокричал в беснующийся зал, что как старший по возрасту депутат открывает собрание, и сошел с трибуны; Свердлов предложил заседанию приступить к работе от имени ВЦИК.

В председатели Учредительного собрания эсеры предложили кандидатуру В. М. Чернова, революционера, более двадцати лет боровшегося против царизма, министра земледелия в первом коалиционном кабинете Временного правительства; большевики и левые эсеры выдвинули кандидатуру М. А. Спиридоновой, в прошлом террористки, лидера левых эсеров.

За Чернова проголосовали 244 депутата. Спиридонова собрала 153 голоса.

Свердлов огласил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и предложил Учредительному собранию присоединиться к этой декларации, то есть признать над собой Советскую власть и утвердить все ее декреты.

В «Проекте декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» Ленин требовал признать, что «Учредительное собрание считало бы в корне неправильным, даже с формальной точки зрения, противопоставлять себя Советской власти.

По существу же Учредительное собрание полагает, что теперь, в момент последней борьбы народа с его эксплуататорами,— эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти».

Оставался вопрос: за кем, к примеру, числить врача-демократа А. И. Шингарева — за народом или за эксплуататорами?

Чернов напомнил собравшимся, что по своему статусу Учредительное собрание является верховной законодательной властью, способной спасти Россию от гибельного раскола:

«Учредительное собрание представляет собой самое живое единство всех народов России, и потому уже фактом открытия провозглашается конец гражданской войны...»

От имени меньшевиков выступил И. Г. Церетели, приговоренный в 1907 году в качестве члена II Государственной думы царским судом к каторге. Он призывал передать всю полноту власти Учредительному собранию.

На заседании присутствовал В. И. Ленин. Враг всяческого протокола, Владимир Ильич не пошел на министерские скамьи, а «примостился на покатых, покрытых ковром ступеньках, невдалеке от трибуны. Депутатам он был невидим, так как от них отделяет его дощатая перегородка между рядами»,— вспоминал большевик М. С. Кедров. Он же описал, как весело смеялся Ленин во время речи Чернова.

Между тем обстановка в зале была грозной и взрывоопасной. Для охраны Учредительного собрания были вызваны матросы с крейсера «Аврора» и линкора «Республика», не все они, по воспоминаниям очевидцев, явились трезвыми, но вот винтовку, гранаты, кобурное оружие и пулеметные ленты никто не забыл на корабле. Время от времени матросы клацали затворами и наводили винтовки в центр зала и на правые скамьи, где расположились эсеры, меньшевики, кадеты и представители национальных групп.

Ложи для публики были заняты рабочими, молодежью и красногвардейцами, открыто выражавшими свою ненависть к «буржуям» и желание расправиться с неугодным им большинством Учредительного собрания.

Первыми ушли с заседания большевики. А в третьем часу ночи было принято постановление о том, что верховная власть в стране принадлежит правомочному, законно выбранному Учредительному собранию, которому должно подчиниться Временное впредь до Учредительного собрания рабоче-крестьянское правительство. В ответ на это заседание покинули и левые эсеры, имевшие в Совнаркоме несколько портфелей.

Опустели ложи для публики, разъехались по редакциям репортеры, депутаты остались с глазу на глаз со своей охраной, которой командовал анархист матрос А. Г. Железняков.

Ленин, уезжая из Таврического дворца, строго-настрого наказал, чтобы никакого насилия над депутатами допущено не было.

Депутаты приступили к обсуждению аграрного закона и приняли его первую, общую часть. Они не знали, что, прежде чем уехать, вечером 5 января депутаты — члены Совета Народных Комиссаров провели частное заседание, на котором было решено распустить Учредительное собрание.

Около пяти часов утра Железняков, уже несколько раз предлагавший Чернову прекратить совещание, сказал председателю со значением: «Караул устал...» Через несколько минут заседание было объявлено закрытым.

Следующее было назначено на 17 часов 6 января, но когда к указанному сроку депутаты стали собираться к Таврическому дворцу, они нашли на дверях замок, а охрана сказала, что заседания не будет, так как оно запрещено Совнаркомом. Подавленные, выбитые из колеи депутаты разошлись, не приняв никакого манифеста по случаю разгона Учредительного собрания.

В ночь с 6 на 7 января 1918 года ВЦИК принял по докладу Ленина декрет о роспуске Учредительного собрания.

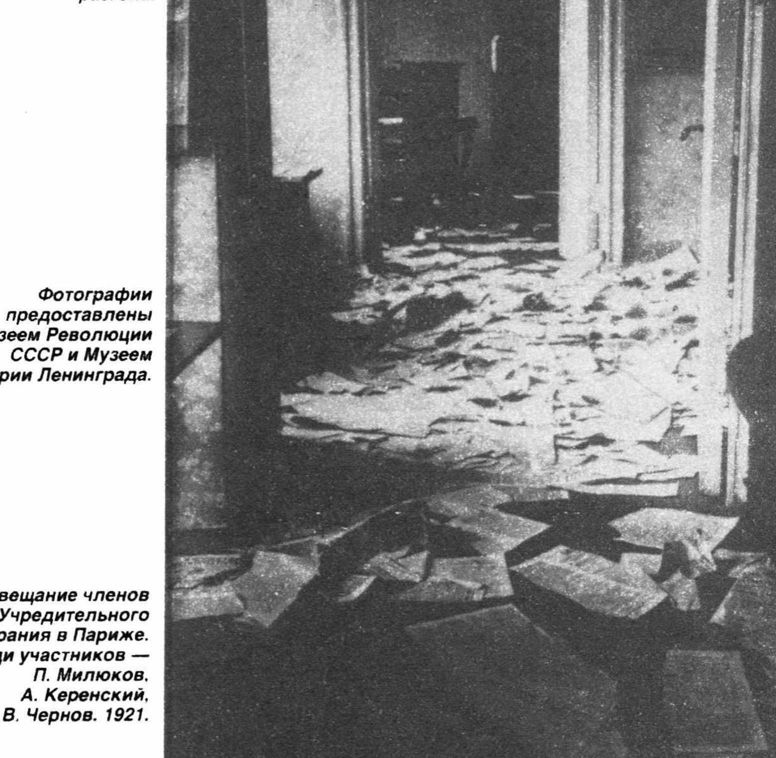
В эту же ночь в Мариинской больнице Петрограда пьяными матросами и красногвардейцами были зверски убиты в постелях больные А. И. Шингарев и Ф. Ф. Кокошкин — заключенные под стражу депутаты Учредительного собрания.

Ленин распорядился строго наказать виновных, но дело было спущено на тормозах.

Самосуды произошли и в других городах.

В целом реакция населения на разгон Учредительного собрания была вялой, буржуазные газеты были закрыты сразу после Октября; Горький в колонке «Несвоевременных мыслей» в «Новой жизни» выступил очень яростно. Горького потрясло то, что среди жертв были солдаты и рабочие (хотя, разумеется, не считал, что интеллигентов и служащих, составлявших большинство мирного шествия, убивать можно).

Дверь, ведущая к демократии, была крепко захлопнута, а потом и наглухо заколочена шестидюймовыми гвоздями...



Таврический дворец, 6 января 1918. После разгона.

Фотографии предоставлены Музеем Революции СССР и Музеем истории Ленинграда.



Совещание членов Учредительного собрания в Париже. Среди участников — П. Милюков. А. Керенский, В. Чернов. 1921.

ЕЛЕНА БОННЭР: КОМУ НУЖНЫ МИФЫ?



Странная создалась ситуация. Я все время кого-то обижаю. Сначала правительственную комиссию — отказавшись от прощания в Колонном зале и похорон на Новодевичьем. Потом самого Андрея Дмитриевича, разрешив везти гроб с его телом в президиум Академии. Там обидела Горбачева, посоветовав для увековечения памяти не вешать мемориальные доски, а зарегистрировать не зарегистрированный на тот момент «Мемориал» и реабилитировать узников совести 70—80-х годов. Потом, очевидно, многих честных людей, сказав Михаилу Сергеевичу, что мне его жаль: он потерял единственного честного оппонента. На девятый день после смерти отца обидела его старшую дочь за какие-то ее нестоящие того слова. На самом деле не за них, а за то, что пришла с человеком, которому Андрей Дмитриевич дал пощечину и выгнал из дома. Так что Н. Яковлев, писавший свои пасквили в центральных изданиях во времена Брежнева, был не первым, с кем «повздорил» Сахаров. Обидела сына Андрея Дмитриевича, напомнив вранье в интервью журналу «Крокодил».

Потом обидела годовое собрание Фонда за выживание и развитие человечества, прочтя им то, что Сахаров написал о Фонде и опасности его вырождения, и примерный Устав Фонда, который он подготовил полтора года назад. А Фонд так и живет — без Устава. Сегодня я обидела Фонд милосердия, который объявил, что он — «имени Сахарова», хотя Сахаров отказался быть его почетным президентом. Надо ли слову «милосердие» еще одно имя?

Я каждый день читаю чьи-то воспоминания об Андрее Дмитриевиче. Поражаюсь, как много в них неточного, мифов, легенд, которые он так не любил. Не потомок он Муравьевых! Это его тетя была замужем за Якушкиным!

Один из его коллег написал, что не ответил на письмо Сахарова, потому что ему-де мешала секретность. А почему бы не написать, что писал ему Сахаров? Ведь не о бомбе же. Кто-то торопится печатать Сахарова (все равно как — бережно или небрежно), делать пластинки с его голосом, присваивать имя, выпускать календари, значки, открытки, давать премии.

Как будто Андрея Дмитриевича вдруг выставили на продажу — оптом и в розницу. Господи, так и хочется сказать: не продается! Нет! Пусть пройдет время.

Журнал «Огонек» (А. Д. его любил), пятый номер. Статья С. Панасенко: «Хрестоматийным стал эпизод с отказом Академии наук СССР изгнать из своих рядов Андрея Сахарова». Красивая байка! Но, может, стоит подумать, кому и зачем она нужна сегодня? Никто не ставил перед Академией такой задачи — вот и не выгоняла. А если я не права, то дайте протокол заседания или хотя бы свидетелей, что такой вопрос стоял... Задача перед АН была поставлена другая — дезинформация и молчание. Академия ее выполняла. В лице президента отказалась помочь госпитализации Сахарова в свою больницу (май 1983-го), объявила душевнобольным (июнь 1983-го) — позже (август 1983-го) это повторил американским сенаторам Ю. В. Андропов. АН пыталась скрыть от мировой общественности две его голодовки... Перечень могу продолжить. И напомнить! Не только в «застойные», но и в «перестроечные» годы Академия не избрала на первых выборах Сахарова в народные депутаты. И была бы, видимо, рада прокатить вторично, да молодая поросль не дала.

Газета «Известия» (26 января с. г.) повторяет сказку о том, как Академия не исключила Сахарова, сообщает, что Александров не подписывал «письма сорока» (тогда президентом был Келдыш — и подписал), но почему-то умалчивает, что в 1975 году он подписал другое, ничуть не лучшее. После чтения этого материала неясно, как я очутилась в самолете, летевшем в Горький 22 января 1980 года, когда нас отправили в ссылку. Я расскажу.

Когда Андрей Дмитриевич, звонивший мне из приемной Генерального прокурора, сказал, что его высылают в Горький, я спросила: «А я?» — «Ты сможешь ко мне приезжать».— «Нет. Я поеду с тобой».— «Я их спрошу». И через пару минут: «Сколько тебе надо времени на сборы?» «Два часа».— «За тобой заедут». Заехали. Вежливые. Моя восьмидесятилетняя мама и Лиза Алексеева (та самая, ради выезда которой к мужу мы потом держали голодовку), уже успевшая сбегать позвонить инкорам — наш домашний телефон после звонка Андрея из приемной Рекункова мгновенно выключили — спросили разрешения поехать нас проводить. Им разрешили. Но никогда не надо верить «их» разрешениям. Пока мамы и Лизы не было, «они» хорошо поживились нашими бумагами. Почему я рассказываю этот эпизод? Он очень «сахаровский». Ведь он мог сам сказать Рекункову, что я поеду с ним. Но Андрей Дмитриевич никогда ничего не решал за других. И никто никогда ничего не мог решить за него. К сожалению, не все, кто его знал, это понимали...

Но вернемся к академии. Не надо петь ей дифирамбы. Она ничем не отличалась от других, дружным хором осуждавших Сахарова. Ну, может, только не писали: «Я Сахарова не читал, но...». Когда-нибудь историки соберут воедино все, что говорили о Сахарове президенты академии, ее покойный и ныне здравствующие вице-президенты, ведущие и рядовые академики, благо есть библиотека Конгресса США, многие западные издания.

Журнал «Знамя», номер 2. Два письма академика Сахарова академику Гинзбургу и одно академику Александрову. Публикация В. Л. Гинзбурга.

Предварительное замечание: до 2 мая 1984 года А. Д. Сахаров не обращался с просьбами к коллегам. Но, когда против меня возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде из Горького с целью зажать Андрею рот, он дважды просил их взять письма к президенту АН. Я тогда перенесла первый инфаркт, но по ходу дела добавились еще два, так что, когда меня впоследствии выпустили в США для обследования, закончившегося операцией на сердце, американским врачам пришлось делать мне шесть шунтов, и я, кажется, стала чемпионкой Союза в этом «виде спорта». Тому, кто эти письма взял, спасибо. Но третьей голодовки Андрея Дмитриевича (1985 г.) могло не быть, если б его коллеги нашли в себе силы выполнить его прямую просьбу: «О фактическом же положении наших дел (о причинах, вынуждающих добиваться поездки, о суде над женой и его беззаконности, о варварском принудительном кормлении и четырехмесячной изоляции, о состоянии здоровья жены и моего), наоборот, вполне можно рассказывать, и чем шире, тем лучше,— это какой-то минимальный противовес тому потоку дезинформации и клеветы, который распространяется в прессе, при контактах с иностранными учеными и другими путями» (Из письма ак. Сахарова ак. Гинзбургу. «Знамя», стр. 5). Но и в Москве, и «в заграницах» коллеги молчали, как партизаны. А перед голодовкой (апрель 1985-го) один из них написал Андрею Дмитриевичу: «Ваше заявление о возможной Вашей голодовке вызывает большое огорчение. При теперешнем состоянии Вашего здоровья это жизненно опасно. По опыту прошлого года Вы знаете, что никакой шум за границей не приносит желаемого Вами результата — это пустое сотрясение воздуха. В этом же году и этого не будет, так как о начале Вашей голодовки никто во всем мире не узнает». Вот так! Я не называю имя автора письма. Но ведь это было...

Публикация Виталия Лазаревича Гинзбурга потрясла меня своей открытостью. Хотя признаюсь: мне не хватает в ней сегодняшней оценки его тогдашнего молчания. Но все равно! Ведь только он и академик Вонсовский честно признали свою неправоту в тот период. Большинство же предпочитает обходить молчанием собственное поведение в то время, ограничиваясь общими словами о стране, народе, эпохе, отце народов или авторе застоя.

А «сотрясение воздуха» всегда помогало. Пока меня не заперли в Горьком, было опубликовано все, что Сахаров там написал, а что не опубликовано, то было спасено, в том числе и статья «Опасность термоядерной войны», без которой еще неизвестно, были бы сделаны те шаги по разоружению, которые мы имеем сегодня. И невестка наша уехала, и даже успела родить маленькую американскую гражданку. И героические усилия теор. отдела ФИАН и его руководителя академика Гинзбурга оставить Сахарова сотрудником отдела увенчались успехом, потому что были поддержаны решением Национальной Академии США прекратить сотрудничество с АН СССР и твердой позицией в этом вопросе ее президента д-ра Филиппа Хандлера. «Сотрясение воздуха»: протесты тысяч иностранных ученых, «День Сахарова», голодовка в Вашингтоне напротив советского посольства, единогласная резолюция Конгресса США, тост Миттерана в Москве, беспокойство государственных деятелей Запада, активные действия наших близких «там» и друзей «здесь», тревога, которую они сумели внушить западной прессе,— заставило правительство принять разумное решение. А новое правительство или старое — дело второе.

Напомню: и при старом руководстве бывали победы, когда наша диссидентская «малая гласность» и Сахаров докрикивались до «города и мира»,— освобождены Григоренко, Буковский, Кудирка, Гинзбург, Щаранский, «самолетчики» и еще многие. И докричалась она до того, что идеология защиты прав человека стала всемирной.

Бурлацкий и его комиссия — это уже потом, вдогонку пошли собирать колоски с этой нивы, и между прочим, за зарплату, а не за диссидентские бесконечные сроки — 5 плюс три, 7 плюс три, а то и 10 с тем же плюсом, как Толя Марченко, умерший в тюрьме. Да и при новом руководстве сколько надо было «сотрясать воздух» (и Сахарову вместе с другими), чтобы освободить Сергея Кузнецова. Еще сидят старые пзк, скажете — несколько, но ведь каждый — судьба! Есть и новый — Манучаров. Три суда — городской, областной, республиканский — признали, что следствие не доказало его вины. А сидит! Никто сегодня не знает, сколько еще придется «сотрясать воздух»! И не об «отдельных недостатках» речь, а о судьбе целых городов, республик, народов.

Опять мучаюсь, что обидела в общем-то хороших людей. Но нестерпимей всего, что обидела тех, кто простоял долгие часы на морозе у Дворца молодежи и под дождем в Лужниках, где были самодельные плакаты «Прости нас». Я виновата — забыла, что бывают официальные некрологи, что бывают люди, для которых возможно в 1973-м подписать «письмо сорока», в 1975-м — «семидесяти трех». А в 1989 году — некролог?!

Я прошу прощения у всех, кому дорога память Андрея Дмитриевича Сахарова, за то, что недоглядела — за этот некролог.

Раздел, в котором напечатаны письма в журнале «Знамя», назван «Уроки Сахарова». Вот один из его уроков: «Развращающая ложь, умолчание и лицемерие должны уйти навсегда и бесповоротно из нашей жизни».

Не я начала печатать письма Андрея Дмитриевича. Казалось, письма — дело частное и лучше бы потом. Но раз уж это началось, то я и предлагаю вашему вниманию первое письмо академика Сахарова президенту АН СССР академику Александрову. Ответа на него, так же как и на все последующие, не было.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК СССР А. П. АЛЕКСАНДРОВУ

Уважаемый Анатолий Петрович!

Непосредственным поводом для этого письма явилось содержание Вашей беседы о моем деле с президентом Нью-Йоркской Академии наук доктором Дж. Лейбовицем. Эта беседа состоялась 15 апреля, но только сейчас ее запись стала мне доступной. Независимо от этого, я считаю важным изложить свою позицию по принципиальным вопросам, дать оценку действиям органов власти в моем деле, ответить на некоторые публичные обвинения, а также дать оценку позиции, занятой моими коллегами в СССР, в частности Академией наук и ее руководителями.

Моя жизнь сложилась так, что я на протяжении двух десятилетий находился среди тех, кто был занят военно-научными и военно-конструкторскими работами, и сам принимал в них активное участие, а затем более двенадцати лет — среди людей, ставящих своей задачей ненасильственную борьбу за соблюдение прав человека и законность. Эта судьба заставила меня с особой остротой воспринимать вопросы войны и мира, международной безопасности, международного доверия и разоружения и вопросы прав человека, открытости общества, напряженно размышлять об этих проблемах в их взаимосвязи. Так сформировалась моя позиция. Во многом она оказалась неортодоксальной, идущей вразрез с официальной линией и с моей собственной оценкой в более ранние годы. Это в конечном итоге полностью изменило мою жизнь, изменило цели и идеалы.

Еще очень рано я пришел к выводу, что при страстной воле всего народа к миру и при несомненном желании руководителей государства избежать большой войны в своей практической внешней политике они зачастую руководствуются крайне опасной, по моему мнению, «геополитической» стратегией силы и экспансии и стремлением подавить, разложить потенциального противника. Но, разлагая «противника», мы разлагаем мир, в котором живем. Так, еще в 1955 году я узнал, что наша ближневосточная политика совершает крутой поворот, целью которого является создать «нефтяную зависимость стран Запада». Этот поворот принес в последующие годы огромные бедствия народам этого региона — арабам, Израилю, Ливану, а также способствовал остроте энергетического кризиса во всем мире. По мере того, как возрастали военные возможности СССР, такого рода политика становилась все более доминирующей и опасной, разрушая одной рукой то, что пыталась строить другая. Афганистан — последний и наиболее трагический пример того вреда, который приносит это экспансионистское геополитическое мышление.

Я убежден, что предотвращение термоядерной войны, угрожающей человечеству гибелью, является самой важной задачей, имеющей абсолютный приоритет над всеми остальными проблемами нашей жизни. Пути ее решения — политические, политико-экономические, создание международного доверия, открытых обществ, безусловное соблюдение основных гражданских и политических прав человека и — разоружение.

Разоружение, в особенности ядерное,— важнейшая задача человечества. Разоружение (реальное, а не демагогическое) возможно, по моему убеждению, лишь на исходной основе стратегического равновесия сил. Я поддерживаю ОСВ-2 как удовлетворительное воплощение этого принципа и как предпосылку ОСВ-3 и других дальнейших соглашений. Я выступаю за соглашение об отказе от первого применения ядерного оружия на предварительной основе достижения стратегического равновесия в области обычных вооружений. Выступаю за всеобъемлющее соглашение о химическом и бактериологическом оружии. Сообщение о недавней разоблачительной катастрофе в Свердловске подтверждает актуальность этого. Я осудил бы попытку Запада добиться существенного стратегического превосходства над СССР как крайне опасную. Но я также крайне озабочен милитаризацией СССР и нарушением с советской стороны стратегического равновесия в Европе и других районах Азии и Африки, советским диктатом и демагогией в них. Я против международного терроризма, разрушающего мир, какими бы целями ни руководствовались его участники. Государства, реально стремящиеся к стабилизации в мире, не должны его поддерживать ни при каких обстоятельствах.

Важнейший тезис, который со временем лег в основу моей позиции,— неразрывная связь международной безопасности, международного доверия и соблюдения прав человека, открытости общества. Этот тезис вошел составной частью в Заключительный акт Хельсинкского совещания, но слова здесь расходятся с делом, в особенности в СССР и странах Восточной Европы. Я узнал о масштабах и цинизме, с которыми нарушаются основные гражданские и политические права в СССР, в том числе право на свободу убеждений и свободу информации, право на свободный выбор страны проживания (т. е. на эмиграцию и возвращение), на выбор места проживания в пределах страны, право на беспристрастный суд и защиту в суде, право на свободу религии. Без соблюдения этих прав общество является «закрытым», потенциально опасным для человечества и осужденным на деградацию. Я узнал людей, которые поставили своей целью бороться за права человека путем гласности, принципиально отвергая насилие, и о жесточайших преследованиях их властями, увидел воочию несправедливые суды, увидел наглость КГБ, узнал о тяжелейших условиях в местах заключения. Я стал одним из этих людей, которых Вы назвали «чуждой кликой» и даже обвинили в измене, но они мои друзья, и я именно в них вижу светлую силу нашего народа.

Я узнал о борьбе за освобождение узников совести во всем мире — и она стала близка мне как важнейшая цель. Я поддерживаю «Международную амнистию» в ее борьбе за отмену смертной казни во всем мире, и я неоднократно выступал с призывом об отмене смертной казни в нашей стране.

Другими глазами посмотрел я на экономические, и в особенности продовольственные, трудности в СССР, на кастовую партийно-бюрократическую элиту с ее привилегиями, на косность системы производства, на угрожающие признаки бюрократического извращения и омертвения всей жизни страны, на всеобщее равнодушие к результатам труда, на безликое государство (когда всем все «до лампочки»), на коррупцию, блат и уродующие человека вынужденные лавирование и лицемерие, на алкоголизм, на цензуру и наглое вранье прессы, на безумные нарушения среды обитания — почвы, лугов, чистоты воздуха, лесов, рек и озер. Необходимость глубоких экономических и социальных реформ в СССР очевидна многим в стране, но их проведение наталкивается на противодействие части правящей бюрократии, и все продолжается по-старому — приевшиеся лозунги, все же что-то делается, а больше — проваливается. Между тем военно-промышленный комплекс и КГБ набирают силу, угрожая стабильности во всем мире, а сверхмилитаризация поедает все ресурсы.

Моим идеалом стало открытое плюралистическое общество с безусловным соблюдением основных гражданских и политических прав человека, общество со смешанной экономикой, осуществляющее научно регулируемый всесторонний прогресс. Я высказал предположение, что такое общество должно возникнуть как результат мирного сближения («конвергенции») социалистической и капиталистической систем и что в этом — главное условие спасения мира от термоядерной катастрофы.

Наша страна половину своей истории прожила в обстановке чудовищных преступлений сталинского режима. Хотя на словах действия Сталина официально осуждены, но масштабы сталинских преступлений и их конкретные проявления тщательно скрываются от народа, а разоблачители преследуются за мнимую клевету. Террор и голод эпохи коллективизации, убийство Кирова и уничтожение культурных, гражданских, военных и партийных кадров, геноцид при переселении «наказанных» народов, лагеря каторжного труда и гибель многих миллионов в них, заигрывание с Гитлером, обернувшееся национальной трагедией, репрессии против оказавшихся в плену, антирабочие законы, убийство Михоэлса и возрождение государственного антисемитизма — все эти язвы должны быть вскрыты с абсолютной окончательностью. Народ без исторической памяти обречен на деградацию. Как мне известно, Вы в той или иной мере разделяли эту точку зрения раньше, и я надеюсь, что Ваша позиция не изменилась.

Свою концепцию я изложил в 1968—1980 годах в серии статей, выступлений и интервью. Вместо серьезной дискуссии официальная пропаганда ответила умышленными искажениями моей позиции, ее окарикатуриванием, руганью и клеветой. А в жизни я столкнулся со все большими преследованиями, угрозами мне и особенно моим близким — и, наконец, с бессудной депортацией. Уже первые мои попытки занять непредвзятую позицию встретили противодействие. 22 ноября 1955 г., в день триумфального и трагического испытания термоядерного оружия (когда еще не были преданы земле тела погибших), на этой почве произошло мое столкновение с маршалом М. И. Неделиным, а 10 июля 1961 г. столкновение (в Вашем присутствии) с Первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым.

И все же мне удалось (министр среднего машиностроения Е. П. Славский может подтвердить это) быть одним из инициаторов Московского Договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах, который явился первым (и пока наиболее бесспорным) шагом на трудном пути к предотвращению ядерной угрозы.

В 1975 году я удостоен Нобелевской премии мира — единственный из граждан СССР. В 1980 году я в Горьком, и Вы, президент Академии наук СССР, беседуете с президентом Нью-Йоркской Академии наук, специально прилетевшим из США, чтобы встретиться с Вами. Что же вы ему ответили? К сожалению, Вы говорили в духе позорного заявления сорока академиков 1973 года, которое тогда положило основу моей травли в печати, но только с еще большим цинизмом и неуважением к здравому смыслу собеседника, Вашего и моего коллеги по науке.

Да, я в лучших условиях, чем те мои друзья, которые осуждены на многолетние сроки или ждут суда, среди них много наших с Вами коллег, назову лишь некоторых — биолог Ковалев, физик-теоретик Орлов, математики Великанова и Лавут, молодой ученый-кибернетик Щаранский, медики Некипелов и Терновский, математик-кибернетик Болонкин (только последнего я не знаю лично). Все они не нарушали законов страны, не прибегали и не призывали к насилию, словом и пером пытаясь осуществить свои идеалы, как и я, и нас нельзя отделять. Я считаю, что было бы естественно, если б Академия наук защищала репрессированных ученых, а не допускала в лице ее президента клеветы в их адрес. Но мое дело отличается тем, что в нем власти отбросили даже ту жалкую имитацию законности, которую они изображали при преследовании инакомыслящих в последние годы. И это недопустимо — как прецедент и как рецидив. Ни одно из официальных учреждений, призванных осуществлять закон, не взяло на себя ответственности за акт моей депортации.

Вы знаете так же хорошо, как и я, что по общепринятым юридическим нормам только суд может установить виновность человека, определить ему меру наказания и обязательно — его срок. Мое же дело во всех этих трех аспектах — вопиющее беззаконие, поэтому мое требование открытого суда — глубоко серьезно и принципиально. Вы говорите, что я могу заниматься в Горьком наукой. Да, я работаю, но не представители Академии наук, способствующей для меня организации шарашки на одного, говорить об этом как о чуде. Да, у меня есть крыша над головой (в Горьком говорят, что эта квартира — бывшая явка КГБ), а жена привозит из Москвы мясо, масло, творог и сыр, которых нет в Горьком. Нарушение закона, которое Вы пытаетесь этим оправдать, от этого не меньше. Совершенно беззаконным (ссыльным, согласно Исправительно-трудовому законодательству,

такого не устанавливают) является режим, который установили для меня — кто? КГБ, МВД, прокуратура — я этого не знаю, и Вы тоже не сможете ответить на этот вопрос. У моей двери круглосуточно стоит милиционер, любой посетитель попадает в милицию и имеет крупные неприятности. Я узнаю лишь через много времени о таких попытках близких мне людей, врача и друга, восьмидесятидвухлетней тети, об остальных могу и никогда не узнать. Но помимо милиционера и втайне от него — через окно — в квартиру проникают сотрудники КГБ, нарушая право неприкосновенности жилища и создавая тем потенциальную опасность для меня. Вы не ответили на телеграмму моей жены об этом в июле этого года, я считаю это недопустимым. Для меня установлена персональная глушилка — фирма не жалеет затрат — еще до того, как в СССР возобновили глушение. Круглосуточно — бесстыдная, наглая слежка, агенты следуют по пятам всюду, заглядывают в окно, забегают впереди меня на почту, чтобы я не мог позвонить.

В беседе с доктором Лейбовицем Вы намекаете на нарушение мной государственной тайны и при этом голословно обвиняете моих друзей, утверждая, что кто-то пытался вывезти какие-то секреты, полученные им прямо от меня или через друзей. Странным образом отождествляя себя и Академию наук с органами сыска, Вы говорите, что «мы задержали этого человека». Но юридические факты отличаются от демагогии и обывательских разговоров конкретностью. Тут ее не было — и быть не могло. В таких серьезных вещах голословное утверждение имеет и другое название — клевета. Вы с удивительным юридическим легкомыслием заявляете, что за мои призывы к иностранным правительствам меня можно осудить на пять лет заключения — почему пять? Статья 190-1 УК РСФСР — срок три года, ст. 70 — срок 7 лет, ст. 64 — до 15 лет или смертная казнь. Вы также заметили, что меня можно было и убить, как Кеннеди или Кинга. Но я считаю себя обязанным высказывать свое мнение по острым вопросам и осуждать те действия СССР, которые прямо противоречат принятым им на себя международным обязательствам и международным нормам. Я одобряю те, лежащие в рамках закона, действия иностранных правительств, которые могут способствовать исправлению этого. Я поддержал в свое время поправку Джексона. Я и сейчас продолжаю считать ее чрезвычайно важной. Это поправка к американскому закону о торговле, речь идет об американских торговых правилах. Я обратился к правительству Индонезии с просьбой об амнистии политзаключенных. Меня обвиняют в печати в восхвалении переворота в Чили — но я тогда вместе с Галичем и Максимовым писал о судьбе писателя Пабло Неруды. Я дважды выступил против жестоких антикурдских акций в Ираке. Я обратился несколько лет назад с просьбой проявить гуманность при осаде палестинского лагеря Телль-Заатар. Осенью 1979 года я обратился к правительству КНР с просьбой пересмотреть жестокий приговор смелому диссиденту, противнику военной акции против Вьетнама Вэй Циншену, и к правительству ЧССР — пересмотреть приговор членам «Хартии-77». Я не поддерживал предложения о бойкоте Московской Олимпиады, о техническом и тем более продовольственном бойкоте до советского вторжения в Афганистан. Моя позиция изменилась, когда, по моему мнению (и по мнению 104 государств — членов ООН), произошло опасное нарушение международного права, международного равновесия. Я поддержал меры бойкота, считая их в этих условиях направленными также и на благо нашей страны. Я передал Президенту Франции Жискар д'Эстену письмо группы активистов крымско-татарского народа, а от своего имени обратился к Л. И. Брежневу с просьбой положить конец национальной дискриминации крымских татар, явившихся жертвой сталинского преступления в 1944 году. В октябре 1979 года я просил Л. И. Брежнева способствовать беспрепятственной доставке продовольственной помощи голодающим в Кампучии. Уже после депортации в Горький я обратился к Л. И. Брежневу с большим письмом, содержащим приемлемые, по моему мнению, предложения по политическому урегулированию афганской трагедии, копии письма послал главам государств — постоянных членов Совета Безопасности. Я высказал в этом письме мнение о вторжении в Афганистан как об ошибке, имеющей огромные негативные последствия — внешнеполитические и внутри страны. Я пишу, в частности, об усилении роли репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля. Таковы некоторые из моих внешнеполитических выступлений за последние годы. Во всех этих моих действиях нет нарушений законов СССР. Эти выступления продиктованы моими убеждениями и, по моему мнению, ни в чем не противоречат интересам нашей страны и ее народа.

12 августа 1980 г. я обратился к вице-президенту АН СССР академику Е. П. Велихову и в его лице к президиуму АН и к Вам лично с просьбой помочь в деле, которое стало особенно важным для меня. История его такова. Неоднократные угрозы в адрес детей и внуков (начиная с «визита» террористов «Черного сентября» в 1973 г.), притеснения и провокации вынудили нас уговорить их эмигрировать. Это решение было непростым и до сих пор воспринимается трагически. У сына осталась в СССР невеста Елизавета Алексеева, вот уже три года она не может выехать к любимому человеку, подвергается шантажу и угрозам КГБ. Ко мне в Горький ее, члена нашей семьи, не пускают. Опасаясь за ее жизнь, моя жена вынуждена большую часть времени проводить в Москве. Фактически Лиза Алексеева стала заложником. Я просил ходатайствовать о получении ею разрешения на выезд. В течение двух месяцев вице-президент вообще не отвечал мне на это письмо и на неоднократные телеграммы. Лишь 14 октября вечером пришла телеграмма, что им «предпринимаются меры по выяснению возможности выполнения Вашей просьбы». Совершенно непонятно, почему это так сложно, если человек никогда не имел отношения ни к каким государственным секретам. У меня создается впечатление, что эта телеграмма не более как уловка КГБ с целью оттяжки времени. Сам факт заложничества, связанный со мной, для меня совершенно непереносим. Я вынужден и в этом деле обратиться за поддержкой к моим коллегам за рубежом.

Вы говорили доктору Лейбовицу о приезде ко мне моих коллег из ФИАН как о доказательстве того, что у меня есть все возможности для научной работы. Но как бы ни были важны для меня эти визиты в условиях изоляции от общения с кем-либо, при недостатке литературы и т. п., совершенно недопустима полная их зависимость от контроля КГБ, выбирающего нужные ему моменты приезда ко мне ученых и состав участников. Так, первый приезд фиановцев был приурочен к приезду доктора Лейбовица, чтобы Вы могли упомянуть о нем при встрече с ним, а второй — к приезду секретаря Национальной Академии наук США с той же демонстрационной целью. Я работаю в ФИАН с 1969 года, а до этого — с 1945 по 1950 год, и должен иметь право на основании своего желания, а не по контролю КГБ, выбирать, с кем я буду говорить о науке. Я писал о недопустимости контроля КГБ академику Гинзбургу в письме от 15 сентября и просил воздержаться от командирования сотрудников ФИАН. В силу обеих этих причин — позиции Академии наук и недопустимых преследований со стороны КГБ — я прерываю научные контакты с советскими научными учреждениями, в частности с Академией наук и ФИАН, и настоящим извещаю Вас об этом.

Перед общим собранием АН СССР в марте 1980 года я обратился в президиум АН СССР с просьбой обеспечить мой приезд для участия в собрании, что является моим правом и обязанностью согласно Уставу. Я получил ответ: «Ваше участие в общем собрании не предусматривается». Смысл этих слов был наглядно продемонстрирован действиями гебистов, с пистолетами в руках не пустивших меня в вагон поезда Горький — Москва вечером 4 марта, накануне общего собрания, когда я провожал на вокзал свою тещу и хотел занести ее чемоданы. Таким образом президиум АН допустил возможность вмешательства КГБ в дела Академии, формально оставив меня членом АН, но лишив одного из основных прав академика.

Посылая Вам это открытое письмо, я надеюсь, что Вы аргументированно ответите мне также открыто по всем поднятым в нем вопросам, особо же по следующим из них:

— готово ли руководство АН СССР в соответствии с пожеланиями мировой научной общественности активно защищать мои нарушенные права и права других репрессированных ученых?

— готово ли руководство АН СССР потребовать моего немедленного возвращения в Москву и определения открытым судом моей виновности или невиновности в нарушении закона и в случае установления вины — меры и срока наказания?

— готово ли руководство АН СССР решительно и на деле, а не на словах защищать меня от шантажа в отношении члена моей семьи Е. Алексеевой, способствуя ее выезду из СССР?

Я вновь обращаю Ваше внимание на то, что позиция Академии наук и ее руководства не только в моем деле, но и в делах других репрессированных ученых не соответствует традиционному пониманию солидарности ученых. Сейчас ученые несут на себе большую долю ответственности за судьбы мира, и это обязывает их к независимости от кастово-бюрократических институтов и тем более от тайной полиции, называется ли она ФБР или КГБ. Я все еще надеюсь, что Академия наук СССР проявит такую независимость.

С уважением

Андрей САХАРОВ,
Действительный член АН СССР с 1953 года
Горький, 20 октября 1980 г.

НАШИ ГОСТИ







В гостях у «Огонька» побывал «Московский ансамбль солистов». В репертуаре ансамбля, созданного два года назад,— древние распевы, произведения Д. Аллеманова, А. Архангельского, А. Кастальского, В. Калинникова, П. Чеснокова и других церковных композиторов XIX—XX веков.

* * *

Еще один подарок сделала нам группа «Русь», показавшая свою фольклорную программу.

* * *

Вокальный октет ветеранов Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова исполнил для «огоньковцев» песни революции, гражданской и Отечественной войн. Участникам октета от семидесяти шести до восьмидесяти пяти лет, но держатся они молодцами. Их исполнение вызывает ностальгию по ушедшей городской культуре, с ее духовыми оркестрами в деревянных ракушках парков культуры и отдыха, о которой помнят наши читатели старшего поколения.

О творчестве Марка Алданова у нас обычно отзывались отрицательно. Вот, например, что говорится о нем в «Краткой литературной энциклопедии»:

«За рубежом опубликовал исторические романы, увлекательные по сюжету, но поверхностные и реакционные по содержанию... Романы 30-х годов о русской революции... проникнуты враждебным к ней отношением и рисуют исторические события предвзято и искаженно».

Что касается упреков в предвзятости и реакционности,— это тогда было дело обычное. Примерно такие же обвинения адресовались почти всем русским писателям первой эмиграции — и Бунину, и Ремизову, и Шмелеву, и Набокову... Но по отношению к Алданову к этим чисто идеологическим оценкам, как правило, добавлялись еще и художественные претензии. Его третировали как писателя второго сорта — поверхностного, неглубокого.

«Алданов в «Термидоре» поступает наивно и неудачно,— писал в 1929 году один из самых талантливых и независимых советских литературных критиков того времени Н. Берковский.— Шталь, русский офицер, приезжает в Кенигсберг. Конец осьмнадцатого века, поэтому объем кенигсбергских впечатлений известен заранее. Разумеется, по аллее прогуливается Иммануил Кант. Так оно и есть. Шталь встречает Канта. Теперь на скамеечке немецкая девица, книжку она читает в небесном переплете. Ну и известно, что может читать девица — «Страдания молодого Вертера».

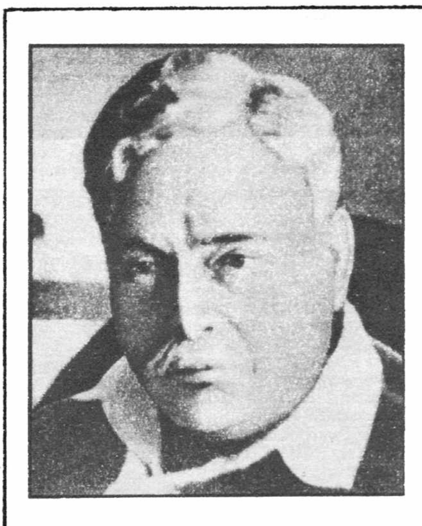
В роман Алданова входят как в собственную комнату, даже света подымать не нужно, известно, где сапожная щетка и где умывальник, известно, где «Вертер» и где «Критика чистого разума».

И это очень плохо, и это очень холодит».

Наблюдение само по себе довольно точное. Но дело тут не в самом наблюдении, а в поставленном на его основе диагнозе. И даже не столько в диагнозе, сколько в том снисходительно-пренебрежительном и безапелляционном тоне, каким этот диагноз нам сообщается.

В отличие, скажем, от Тынянова, открывавшего в своих романах описываемую им эпоху как бы заново, Алданов и в самом деле не опровергает устоявшихся представлений читателя, а подтверждает, укрепляет их. Более того, он на них опирается. Но виной тому не бедность его исторических познаний и не слабость его исторической интуиции. Объясняется это тем, что Алданова интересует не столько атмосфера изображаемой им исторической реальности, сколько философия истории и психология. Основной его интерес сосредоточивается не на самих исторических событиях, а на людях. События составляют ф о н, на котором люди действуют, размышляют, страдают. И задача писателя в том, чтобы этот исторический фон, обстоятельства места и времени были предельно узнаваемы.

Марк Алданов (настоящее имя — Марк Александрович Ландау) родился в 1886 году в Киеве, умер в 1957-м в Ницце. На родине Алданов получил физико-математическое и юридическое образование. Много путешествовал. В апреле 1919 года эмигрировал в Париж. В 1941—1947 годах жил в США, где вместе с М. Цетлиным основал «Новый журнал», один из лучших русских литературных журналов за рубежом.



За скептическую усмешку и изящество отточенного слога Марка Александровича Алданова (1886—1957) называли русским Анатолем Франсом. Книги Алданова переведены на 24 иностранных языка, о нем пишут воспоминания и диссертации. В 1950 году, когда роман «Истоки» вышел отдельным изданием, для поэта Георгия Иванова было аксиомой: «Имя Алданова, бесспорно, самое прославленное из имен русских писателей». Но Алданов был эмигрантом, и на родине его произведений не знали. К советскому читателю они возвращаются только в наши дни. В приложении к «Огоньку» в будущем году предполагается выпустить собрание его сочинений.

Алданов писал книги очерков, рассказы, философские диалоги. Но прежде всего он крупнейший русский исторический романист. Главное дело его жизни — серия из шестнадцати романов и повестей, рисующих два века истории, от Петра III до Сталина. Русская история в них рассматривается в контексте мировой, перед читателем проходит громадная галерея портретов: Суворов и Ленин, Бальзак и Достоевский, Бетховен и Шаляпин. Серьезный ученый, Алданов, работая над каждой книгой, изучал тысячи документов в архивах и библиотеках, добивался воссоздания аромата эпохи с помощью выразительных, умело отобранных деталей. В его «Истоках» действие происходит в конце 1870-х — начале 1880-х годов. В рецензии на роман Алданова «Чертов мост» историк А. А. Кизеветтер свидетельствовал: «Здесь под каждой исторической картиной и под каждым историческим силуэтом вы смело можете поставить: «С подлинным верно».

И вместе с тем Алданов был меньше всего археологом, ослепленным блеском откопанного им исторического материала. Он искал связь времен, размышлял о неизменности человеческой природы, об извечной иронии судьбы. Во все времена кто-нибудь порывался указать человечеству правильный путь, но войны и революции чаще всего приводили к порядку вещей худшему, чем был до них. Слишком тяжелы государственные тела, считал Алданов, слишком многое они уносят в своем падении, лучше и легче чинить здание, чем воздвигать новое после того, как старое взорвано.

В романе «Истоки» название выражает авторскую мысль: истоки гроз-

М. А. АЛДАНОВ

ИСПЫТАНИЕ

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

I

Желябов и Перовская, под именами Слатвинского и Воиновой, жили по 1-й роте Измайловского полка в небольшой квартире из двух комнат с кухней. Прислуги они не держали, людей принимали мало, никаких писем не получали. Время было тревожное, полиция приказывала дворникам большого дома № 18, Петушкову и Афанасьеву, держать ухо востро. Слатвинский и Воинова выдавали себя за брата и сестру. Этому дворники не верили и ухмылялись. Подозрений же против них до последних дней не имели. И лишь в самом конце февраля околоточный велел особенно следить за квартирой № 23. У полиции возникли смутные подозрения.

Дворники потому не считали этих жильцов братом и сестрой, что Воинова не сводила со Слатвинского глаз. Перовская хорошо скрывала свою революционную работу, но скрывать любовь к Желябову было ей не под силу. В революционном кругу говорили — одни сочувственно, другие равнодушно, третьи неодобрительно,— что Соня любит его «до безумия». От близких товарищей она своих отношений с ним не скрывала и часто, со счастливой улыбкой, называла его «мой Тарас». Собственно, Желябов уже больше не был Тарасом: теперь назывался то «Захаром», то «Бородачом». Но она любила это прежнее его имя, которое он носил в начале их сближения. Большинство друзей думало, что Перовская полюбила в первый раз в жизни. В свое время она почти без любви стала невестой Тихомирова и отказалась от него почти без огорчения, хоть ей и было досадно, что, расставшись с ней, он скоро влюбился в другую. Интимные дела никого не касались, говорить о них, собственно, не полагалось,— это считалось «мещанством»,— тем не менее в революционном кругу, как и во всяком другом, очень интересовались этими делами.

Несмотря на переполнявшее ее счастье, Перовская часто плакала. И она, и Желябов прекрасно понимали, что жить им осталось очень недолго. Но в его присутствии Перовская была бодра, весела и даже скрывала от него, что здоровье ее худо. Ей часто случалось и прежде подвергаться очень большой опасности. Однако прежде ее жизнь, каждый день, каждая минута, не имела для нее такого необыкновенного значения, как теперь.

Характер у нее был от природы веселый. Тем не менее жизнь ее была печальной задолго до того, как стала нечеловеческой. В ранней юности она была несчастна из-за деспотического нрава ее отца. Его всю жизнь ненавидела больше, чем Александра II. Бывший петербургский губернатор и теперь был для нее как бы воплощеньем зла старой России. Позднее, уйдя из дому, она занялась революционной работой. У нее было гордое сознание того, что она живет согласно своим убеждениям и исполняет свой долг перед народом. Но, вероятно, радость от этого была менее велика, чем ей хотелось бы. По-настоящему в первый раз в жизни Перовская стала счастливой именно тогда, когда ее короткая страшная жизнь подошла к концу. Желябов тоже любил ее, но не «до безумия». Он всегда нравился женщинам, имел немало увлечений и никогда им большого значения не придавал.

Цепь политических рассуждений, которая привела их всех к мысли о необходимости убить Александра II, оставалась прочной. Однако у Желябова иногда бывали минуты сомнения и колебаний. Некоторые народовольцы находили, что Тарас как будто начал разочаровываться в терроре, хоть этого прямо не говорит и хоть работает втрое больше других. Вспоминали, что он в свое время вошел в партию условно, выговорив себе право уйти, если убийство Александра II не даст России свободы. «Да он всегда был, в сущности, конституционалистом, как Старик, как Колодкевич»,— неодобрительно замечали наиболее радикальные члены Исполнительного комитета. «Народная Воля» объединяла людей разных взглядов: одни хотели конституционного образа правления; другие Учредительного собрания и республики; третьи социалистической революции; четвертые сами не знали, чего хотят,— вошли в партию из молодечества, по чувству товарищества или от неудачно сложившейся личной жизни. Желябов считался умеренным человеком по программе и переменчивым в вопросах тактики. Иногда он говорил, что террора недостаточно, что надо поднять крестьянское восстание, говорил, что соберет и поведет на Петербург стотысячную народную армию,— и говорил так увлекательно, что ему верили даже серьезные рассудительные люди. Он выступал на небольших собраниях «сочувствующих» (успевал делать все), имел огромный успех, и слушателям казалось, что этот высокий, красивый, похожий на царя революционер — воплощение непоколебимой воли.

Это было верно. Но Перовская знала, что он иногда по ночам бредит и вскрикивает, что и наяву в одиночестве он порою с остановившимися глазами разговаривает сам с собой, что он раза три за последний месяц падал в обморок. Изредка, в кругу самых близких людей, Желябов описывал свою



ного 1917 года, шире — истоки всей характерной для XX столетия жестокой нетерпимости можно отыскать в тех 1870-х, когда общество разделилось на два непримиримых лагеря, и каждый, убежденный в своей монополии на истину, стал делать ставку на насилие. Контрапунктом романа является необыкновенно сильно написанная сцена убийства Александра II народовольцами. Мы предлагаем ее вниманию читателей «Огонька».

«Это наименее плохая, по-моему, из всех моих книг»,— писал необыкновенно требовательный к себе Алданов И. А. Бунину 26 февраля 1950 года. Полностью «Истоки» будут опубликованы журналом «Дружба народов».

Андрей ЧЕРНЫШЕВ

смерть на виселице,— описывал с такими ужасными реальными подробностями, что она, Геся, даже мужчины, затыкали себе уши.

Как человек, он был живее, чем она, и страстно любил жизнь. Быть может, в минуты, казавшиеся ему минутами малодушия, думал, что все-таки люди живут на земле только раз. Работал Желябов как никто другой и рисковал головой ежеминутно. Перовская умоляла его беречь себя. Он отшучивался.

Перед своим отъездом из Петербурга к ним зашел проститься Тихомиров. Их прежние отношения с Перовской создавали при встречах неловкость и холодок. Однако слова «попрощаться перед отъездом» имели для террористов не такой смысл, как для других людей: для них каждый вечер мог оказаться последним. Старик, по обыкновению, был настроен мрачно. Проклинал затею цареубийства, говорил, что она и бессмысленна, и неосуществима.

— Александр Дмитриевич погиб, а где уж нам до него? Мы все умрем раньше царя.

Перовская на него напала, раздраженная и его настроением, и тем, что он Тараса ставил ниже, чем Михайлова, да еще как будто нарочно это подчеркивал. Но, к ее изумлению, Желябов, хоть был самолюбив и вспыльчив, почти согласился со Стариком.

— Все же теперь нам отступать нельзя. На весах и наша честь, и репутация Исполнительного комитета,— решительно сказал он.

Когда он вышел на кухню за самоваром, Перовская, подавив обиду, шепотом попросила Тихомирова повлиять на него:

— В последние дни совсем закусил удила! Ради Бога, убеди его вести себя осторожно.

Тихомиров с усмешкой развел руками.

— По нашей диспозиции, Тарас должен вскочить на подножку кареты царя и заколоть его кинжалом. Думаю, что сделать это осторожно было бы нелегко.

В последние дни февраля Желябов работал и по ночам: копал землю в сырной лавке Кобозевых и возвращался домой поздно. Перовская только просила его точно указывать, куда он уходит и когда вернется домой. Это ее желание он выполнял неизменно. Однако задолго до наступления указанного им часа она переставала понимать и слышать. Тарас возвращался, от него шел запах подземной галереи, он убегал приводить себя в порядок, затем весело рассказывал, как хорошо идет дело, какой молодец Антонина (так когда-то называлась Якимова). Перовская ласково кивала головой. Между ней и Якимовой шла глухая борьба. Обе хотели получить роль хозяйки сырной лавки на Малой Садовой. Александр Михайлов незадолго до своего ареста признал, что Якимова, с ее простонародной наружностью, с говорком на «о», подойдет лучше.

— Да, да, Антонина — замечательная личность,— подтверждала Перовская.

Когда выпадал свободный вечер (что случалось редко), Желябов читал ей вслух. Это было лучшим ее наслаждением,— особенно если больше никого не было. Иногда он читал ученые статьи Антоновича, и она делала вид, будто очень ими интересуется. Случалось, читал роман Жорж Занд. Это ее в самом деле занимало, а он смеялся и говорил, что ничего ни в каких Индианах не понимает: и баб таких нет, и вопросов этих в России не существует. Увлекало его лукьяновское исследование о гайдаматчине. Она слушала, представляла себе его на коне, с казацкой саблей в руке. Охотнее же всего он читал «Тараса Бульбу». Это было его любимое произведение,— вероятно, отсюда и пошла его революционная кличка. Читал он мастерски. У нее кровь отливалась от сердца, когда он торжественно и звучно читал последнюю сцену повести. Перовская знала, что он кончит жизнь как тот Тарас. И у нее было твердо решено, что она умрет вместе с ним, рядом с ним, на одной с ним виселице. Это было единственное сбывшееся из ее желаний.

II

В этот последний свой день на свободе он был особенно весел и бодр. Подкоп был кончен, теперь оставалось только загнать мину и заказать Кибальчичу его новые метательные снаряды. Метальщики подобрались прекрасные: Рысаков, Гриневицкий, Емельянов, Тимофей Михайлов.

— Михайлов — простой рабочий-котельщик. У нас все классы, все сословия! — радостно говорил Желябов.

День покушения однако еще не был назначен. Царь теперь не всегда выезжал из Зимнего дворца и по воскресеньям. Были основания думать, что в ближайшее воскресенье, послезавтра, он поедет в Манеж. Но так быстро заложить мину и приготовить бомбы было невозможно.

Они рано пообедали. Дома у них был в избытке сыр разных сортов: лавка торговала слабо, и Кобозевы снабжали товарищей непроданным сыром. Перовская приготовила щи с капустой. Стряпала она довольно плохо. Он ел с аппетитом, весело дразнил ее,— «белоручка», «барышня», «дворяночка»,— и говорил, что сам стряпает лучше. После завтрака притащил старую книгу, как-то у них оказавшуюся, «Самоохранительные записки», принялся читать вслух, и оба помирали со смеху.

— Позднее, когда дело выйдет,— сказал он,— мы поселимся с тобой на хуторе, будем землю пахать и в свободное время читать книги. Хочешь?

Она хотела.

— А Учредительное собрание? Вождю партии надо будет быть там.

— Ни в какое Учредительное собрание я не пойду, хоть обо мне и говорят, будто я честолюбив. Может, и правду говорят, да я не пойду. Я не подрядился быть «вождем». Да и кто меня в вожди выбирал? Разве как у Гоголя казаки Кирдягу избрали кошевым: с пинками притащили на площадь: «Не пяться же, чертов сын! Принимай честь, собака, когда тебе дают ее!» — Он опять залился смехом.— Ох, хорошо писал землячок... И непременно, чтоб хутор был на юге, хоть ты кацапка.

Она соглашалась и на юг. Понимала, что никакого «позднее» для них быть не может,— и все же почти верила ему. Он тоже знал, что его слова бессмысленны. Говорил, чтобы подбодрить ее и себя.

В пятом часу они вместе спустились во двор. В последние дни им казалось, будто они замечают за собой слежку. Дворники как будто странно на них поглядывали. Желябов давно уже, особенно со времени гибели Михайлова, полагался больше на судьбу, чем на конспиративную технику. Однако нетрудные меры предосторожности они принимали. Часто выходили из дому не через парадный ход, а через мелочную лавку Афанасьевой, в которую можно было пройти двором. При этом всякий раз что-либо покупали. Расплачиваясь за плитку шоколада, Желябов шутил с хозяйкой.

— Пошли, сестрица, что ли? — весело сказал он Перовской. «Черт тебя под ракитой повенчал с твоей сестрицей!» — проворчал после их ухода сиделец, впрочем, без злобы, скорее из зависти к этим счастливым людям.

На улице подозрительных фигур не было. Желябов нанял извозчика, что позволял себе не часто: денег у партии становилось все меньше. Красавица Вера Фигнер недавно спасла дело, достав у кого-то триста рублей: умела доставать деньги у богатых людей; на средства этого богатого человека, по-видимому, и был убит Александр II; да еще последние гроши пожертвовал партии полуголодный Рысаков. Другие в большинстве раньше отдали то немногое, что имели.

По дороге Желябов был очень весел, совал ей в рот шоколад, говорил, как им будет хорошо на юге. Разговор не мешал ему внимательно следить за всем на улице. Как у Михайлова, это у него давно стало механической привычкой. Он незаметно всматривался в каждого прохожего.

— Нет слежки. И насчет дворника это тебе показалось. Прекрасно идет дело,— говорил он.— У Публичной библиотеки я сойду, а ты поезжай дальше.

— Да и я сойду на Невском. Что ж даром тратить деньги?

— Нельзя вместе сходить,— сказал он шепотом, чтобы не слышал извозчик.— Значит, ужинаем вместе, опять будем Гоголя читать.

— Ты придешь в восемь? — спросила она со счастливой улыбкой.

— Самое позднее в четверть девятого. Я еще зайду к Наместнику. Что-то он, наш Милорд? Он у меня тоже в лавке землю копал,— шепотом говорил Желябов. Наместником назывался народоволец Тригони, который теперь — по беспечности, под своим именем — поселился на Невском в меблированных номерах Миссюро. Прозвище ему дали потому, что имя-отчество у него было как у великого князя Михаила Николаевича, занимавшего должность кавказского наместника. Иначе Тригони еще назывался Милордом за барский вид и барские замашки.

— Только ради Бога не опаздывай. Ты знаешь, что я волнуюсь: вдруг что-нибудь случилось?

Он засмеялся. «Что-нибудь» означало виселицу.

— Ничего не может случиться, но я никогда и не опаздываю. В восемь буду дома. Ты, Сонечка, купи к чаю чего-нибудь этакого. Кутить нынче так кутить.

У Публичной библиотеки он простился с ней и соскочил. По молчаливо принятому у них обычаю, она через несколько секунд оглянулась. Тарас часто забывал это сделать, тогда она расстраивалась. На этот раз он не забыл и, перебежав на противоположный тротуар, оглянулся с радостной улыбкой, помахал ей рукой. Через полминуты она опять оглянулась и ахнула: Желябов быстро скользнул в известный им обоим проходной двор. Это, очевидно, означало, что он заметил за собой слежку.

Больше она ничего не видела. Первая ее мысль была побежать за ним. Но это было невозможно. «Он сто раз замечал за собой слежку и всегда уходил благополучно»,— твердила себе Перовская.

В этот вечер не было важных дел. Она повидала людей, которых надо было повидать, и освободилась только около восьми часов. Но все равно до этого времени ничего узнать было нельзя. Как она ни торопилась, зашла в магазин, купила немного семги, купила полбутылки дешевого вина. Затем наняла извозчика и доехала, вопреки правилам, почти до самого дома. Окна их квартиры были темны. У нее остановилось дыхание. «Выследили! Арестовали там, во дворе!..»

Она ошиблась только в месте его ареста. Желябов действительно заметил за собой слежку, но с обычным своим искусством от нее отделался: пробежал через проходной двор, сделал несколько кругов и скрылся. Через два часа после этого его неожиданно схватили в меблированных комнатах Миссюро. По доносу его близкого сотрудника Окладского, за этими комнатами было установлено наблюдение. Желябов попал в засаду.

Надеяться можно было полчаса, можно было час. С каждой минутой надежда слабела. Из маленькой квартиры было слышно то, что происходило на лестнице. Люди поднимались к себе. Она знала его походку и все же каждый раз замирала: может быть, он? Ей приходили в голову нелепые предположения: Тригони мог убедить его пойти в лавку на Малой Садовой, оказалась неотложная работа, дать ей знать было невозможно...

Идти на поиски было некуда. В меблированные комнаты Миссюро? Но если его там арестовали, то в комнатах, конечно, устроили засаду. Кроме того, она не могла отлучиться: вдруг он все-таки вернется и, не найдя ее, решит, что ее арестовали? На столе была закуска. Мысль о том, что можно есть, раздеться и лечь в кровать, не приходила ей в голову. Она сидела на стуле и тряслась мелкой дрожью. В полночь сомневаться больше не приходилось. Ее жизнь была кончена.

Желябова не могли не узнать: в полиции, в прокуратуре были люди, знавшие его по началу революционной карьеры; его наружность было трудно забыть. Не могло быть никакой надежды на крепость, на каторжные работы: власти знали, кто он такой и какое место занимает в «Народной Воле». «Верно, его



Рисунок
Вячеслава ЛОСЕВА

пока повезли в дом предварительного заключения... Освободить его? Оставить покушение на царя, бросить все силы партии на освобождение Тараса? Напасть на карету, в которой его будут перевозить? Установить наблюдение за полицейскими каретами?» Желябова не могли казнить раньше чем через месяц, но планы его освобождения были бессмысленны. Партия и не могла их принять, не могла отказаться от своей основной задачи. Перовская понимала, что, как его ни почитали, как им ни дорожили, для партии он одно, а для нее другое. Кроме того, Желябов сам был бы возмущен, если бы узнал, что для его спасения было оставлено дело. «Сейчас он думает обо мне,— думала она, трясясь все сильнее.— Если он не убит... У него был револьвер. Он мог оказать сопротивление...»

Она почувствовала прилив ненависти, такой ненависти, какой никогда еще не знала за всю жизнь, хоть умела ненавидеть. «Нет, дело не может быть оставлено: его надо убить, убить возможно скорее, убить немедленно! Послезавтра он проедет из Зимнего дворца в манеж, нельзя упустить этот случай».

Вероятно, главным ее побуждением было все-таки желание умереть вместе с Желябовым: это могло осуществиться лишь в том случае, если бы царь был убит в ближайшие дни. Слабая миниатюрная женщина, больная, еле державшаяся на ногах, в ту ночь превратилась в механизм, имевший назначеньем убийство Александра II.

На следующий день, в субботу, она собрала Исполнительный комитет. Пришло всего человек восемь. Тихомиров уехал — как раз перед решающим днем. Не пришли Богданович и Якимова. Никто из собравшихся, от Веры Фигнер до Фроленко, не имел ни характера, ни авторитета Перовской. Все испуганно смотрели на ее бледное, измученное лицо с воспаленными глазами. Когда началось заседание, она очень спокойно негромким, чуть прерывающимся голосом потребовала, чтобы дело было сделано завтра, в воскресенье, 1 марта. Ей нерешительно возражали: мина на Малой Садовой еще не загнана в подкоп, метательные снаряды не изготовлены. «Ночью загоним мину... Сейчас сядем изготовлять снаряды... Завтра, непременно завтра... А я говорю завтра»,— твердила она, разрывая на клочки лежавшую перед ней бумажку. Исполнительный комитет уступил ее напору, страшному заряду ее воли. К тому же все были измучены, все находили, что надо кончать: «Больше нет сил... Один конец...» Один Суханов, морской офицер, голосовал против предложения Перовской. Как военный человек, он находил, что такие дела нельзя делать в лихорадке. Он думал, что такие дела можно делать в нормальном душевном состоянии.

Ни при Александре Михайлове, ни при Желябове народовольцы не работали так, как в тот день и в ту ночь. Мина была загнана. Техники, просидев за столом пятнадцать часов подряд, рискуя из-за спешки взорваться каждую минуту, изготовили четыре метательных снаряда. Метальщики были созваны на конспиративную квартиру Геси Гельфман к десяти часам утра. В семь Перовская, не дождавшись конца работы, взяла два готовых снаряда и понесла их к Гесе. По дороге она обдумала диспозицию, роль каждого, свою роль. «Это он одобрил бы... С этим он не согласился бы...» Она действовала 1 марта с такой энергией, с таким самообладанием, каким мог бы позавидовать Желябов. Первое марта было прежде всего делом Перовской.

III

Александр II с обеими своими семьями в субботу, 28 февраля причащался в малой церкви Зимнего дворца. Утром до того он зашел к княгине, внимательно осмотрел ее платье и велел ей переменить ленточку медальона.

— Черная нынче не годится, надень белую. И бриллианты все сними. Видишь, и я без орденов,— сказал он и сообщил, что жена наследника престола тоже будет без драгоценных камней и в простом белом чепчике. Княгиня теперь старалась быть не ниже и не хуже наследницы. Он давно привык к спорам о том, кто выше, кто ниже, и они его забавляли. В церковь царь пошел с Марией Федоровной и не потребовал, чтобы наследник шел с его женой.

Первый чай Александр II пил у княгини. Няня маленьких Юрьевских, боготворившая его Вера Боровикова, поздравила его с причастием. Он встал и поблагодарил ее. Как Людовик XIV, немного щеголял своей учтивостью с женщинами, хотя бы они были няни или горничные. После первого чая полагался еще второй внизу, с лицами свиты. В самом начале второго чая ему доложили, что министр внутренних дел приехал со срочным докладом. Император озабоченно вышел в кабинет, ожидая неприятных новостей. Однако радостно-торжественный вид министра сразу его успокоил. Лорис-Меликов сообщил, что накануне вечером полицией наконец арестован государственный преступник Андрей Желябов,— тот самый. Революционерам нанесен последний удар.

Александр II был так обрадован, что попросил министра подождать его, поднялся по винтовой лестнице к жене и сообщил ей новость. Княгиня, много слышавшая о Желябове, тоже чрезвычайно обрадовалась. Наследник престола еще находился в Зимнем дворце. Царь велел сообщить ему известие и пригласил его в кабинет выслушать доклад министра.

Лорис-Меликов рассказал подробности дела, искоса поглядывая на великого князя: знал, что никак не пользуется его расположением. Услышав, что глава террористов арестован в меблированных номерах Миссюро, как раз напротив Аничкова дворца, великий князь пожал плечами.

— Что ж, приятный был сосед.

— Он там не жил, ваше высочество. Он зашел к своему сообщнику Тригони, по ихней кличке Милорду.

— И кличка очень хорошая. Так зовут собаку батюшки.

— Это был самый опасный из преступников,— кашляя, сказал Лорис-Меликов.— Закоренелый злодей. Родился волком — другим не бывать. Но не могу скрыть от Вашего Величества, что вид у преступника был и остался почти торжествующий. Он даже имел дерзость сказать: «Не слишком ли поздно вы меня арестовали?» Я вынужден поэтому почтительно просить Ваше Величество не ездить завтра на развод в Михайловский манеж.

— Вот тебе раз! Главный преступник арестован, значит, казалось бы, теперь опасность стала гораздо меньше. Ты видно хочешь, Михаил Тариэлович, чтобы я навсегда стал затворником!

— Государь, я должен, я обязан просить об удовлетворении этой моей просьбы. Так точно, главный

преступник арестован, скоро последуют новые аресты. Дайте мне еще неделю-другую. Вдруг перед арестом этот человек приготовил что-то еще? Я этого не думаю, однако осторожа лучше ворожи, государь.

Он еще долго говорил на тему об осторожности. Александр II слушал нетерпеливо. Ему надоело сидеть безвыездно во дворце. Кроме того, он, не любя войны, любил военные парады. Пышная церемония развода всегда очень ему удавалась. Но радость от известия была так велика, что царь не хотел прямо отказывать Лорис-Меликову. Великий князь, не любивший парадов, присоединился к мнению министра.

— И ты!.. Ну да завтра увидим.

— Революционное движение подавлено. Преступники потеряли последние остатки сочувствия в стране, ежели оно у кого к ним и было. Начинается новая, еще более славная, эра вашего царствования,— говорил Лорис-Меликов, осторожно пробуя почву у наследника престола. Тяжелое лицо великого князя, как почти всегда, ничего не выражало. Император взглянул на него с виноватым видом.

— Михаил Тариэлович имеет в виду свой проект. Ты знаешь, я окончательно решился. Так будет легче и России, и мне, и тебе.

Лорис-Меликов заговорил о реформе самым мягким своим голосом. Он не надеялся убедить Александра Александровича, но жалко было терять случай. Опять, с поговорками, в той солдатской манере, в которой обычно говорил полуправду, он повторил свои мысли: его проект не имеет ничего общего с конституцией, и привлечение выборных людей от благомыслящей части общества будет лишь способствовать охранению самодержавия во всей его чистоте.

— А вот батюшка получил письмо от императора Вильгельма,— угрюмо перебил его великий князь.— Умоляет батюшку никакой конституции России не давать. А на что уж умный и опытный человек.

— Опытный-то он опытный,— сказал царь, тотчас, как всегда, раздражившийся от глухой оппозиции наследника,— но ему восемьдесят четыре года, он человек другой эпохи. И мне его советы по моим делам не нужны.

Великий князь замолчал. Лорис-Меликов поглядывал на его вдавившуюся в кресло громадную, грузную, точно каменную фигуру. Он догадывался, что наследник престола не верит ни одному его слову. «Да и, разумеется, как ему верить армяшке?.. Ох, трудно будет при нем, и с выборными людьми, и без выборных людей. Нет более противоположных людей, чем отец и сын. И от этого ведь зависит все будущее России. Другой человеческий материал. А вся придворная челядь, конечно, в сто раз предпочитает сына отцу...»

Он с обиженным видом повторил, что в его проекте нет ничего, ограничивающего права самодержавного императора. Сам Лорис-Меликов не сомневался, что после его реформы общество начнет борьбу за новые уступки и что оно при Александре II постепенно добьется настоящей конституции. «Что ж, так во всем мире. Если я ошибаюсь, то со всем миром»,— в сотый раз сказал он себе.

— Значит, ты завтра представишь мне проект правительственного сообщения о реформе. О тексте поговори с Егором Абрамовичем, он знаток и мастер,— приказал император.

Взгляд наследника престола стал еще более угрюмым. Великого князя злило, что Россией правит армянин и что пост государственного секретаря занимает Перец — сын еврея-откупщика Абрама Израилевича Переца, вдобавок брат декабриста. «Тариэловичи, Абрамовичи, Израилевичи... Это несчастное пристрастие батюшки к инородцам!»

— Ваше Величество, еще раз прошу, умоляю вас завтра из дворца не выезжать! — сказал Лорис-Меликов и вдруг тяжело закашлялся.— Прошу извинить меня: я не очень здоров.

— Видишь, я крепче тебя, Михаил Тариэлович, хоть и старше тебя годами. Сегодня два часа выстоял на ногах в церкви и даже не устал,— весело сказал царь.— Так вот что: ежели ты не так здоров, то завтра не являйся с докладом. Сообщение, правда, дело важное, его откладывать нельзя. Но я приеду к тебе, и мы все просмотрим окончательно.

Великий князь от досады даже перевел на стену свои тяжелые глаза. Русский царь поедет в гости к этому армянину!

— Что бы он ни говорил, это начало конституции. Pas d'illusions à se faire là dessus [1],— сказал царь после ухода Лорис-Меликова.

Вечером он, в гостиной Юрьевской, нечаянно задел рукой свою фотографическую карточку, стоявшую на столе у княгини. Карточка упала на ковер. Царь быстро нагнулся, поднял ее и опять уронил.— Ça, c'est pas de chance! [2] — сказал он весело: был в самом лучшем настроении духа. Но княгине это небольшое происшествие показалось неприятным. Она рассказывала о нем своему племяннику через сорок лет после того.

— Ничего, ничего, стекло не разбилось.

После чая она вскользь спросила императора, собирается ли он завтра в манеж.

— Mais oui, pourquoi pas? [3] — ответил царь, тревожно-вопросительно на нее взглянув. Он обычно говорил с княгиней по-французски, но часто переходил на русский язык.

— Это неблагоразумно, Саша. Говорят о каком-то подкопе... Я очень прошу тебя не ездить!

— Какое же теперь покушение, если их главарь схвачен! Брось ты об этом думать! А потом, ты помнишь ее предсказанье? Если и будет завтра покушенье, то пока лишь седьмое, значит, я спасусь,— так же весело сказал Александр II.

Вся Россия тогда говорила, что в Париже, после покушения Березовского, царь побывал у знаменитой гадалки. Она предсказала ему, что он переживет семь покушений. Знали о предсказании и народовольцы. Они нередко об этом говорили,— одни шутливо, другие не без тревоги. До 1 марта на Александра II было шесть покушений. Никто не думал, что на царя будет произведено два покушения в один день.

— Je me sens si heureux que mon bonheur actuel m'effraye [4],— сказал он.

IV

Впоследствии были разговоры о необыкновенно яркой комете, о двухвостой змее, будто бы появившейся в небе в ночь на 1 марта. Был и орел (или коршун), накануне убивший голубя на окне царского кабинета. Говорили также о страшном сне, снова снившемся тогда царю: этот сон с кровавым полумесяцем будто бы издавна тревожил Александра II,— русский посол в Константинополе еще лет за пять до того запрашивал турецкого волшебника Али-Эффенди; волшебник разъяснил, что между Россией и Турцией вспыхнет война, а в кару за нее Аллах пошлет царю убийц из его же народа.

Гадалки, кометы, орлы, вещие сны всегда в воображении людей сопровождают события, подобные делу 1 марта. Однако мистическая мудрость и вправду могла бы по-своему использовать это дело. Существует в разных вариантах восточная легенда о Садовнике и Смерти. Смерть предупредила багдадского Садовника, что явится за ним в такой-то день, в такой-то час. Друзья посоветовали перепуганному Садовнику убежать куда-нибудь подальше, хоть в Дамаск. В назначенное время Смерть его встретила в конце дороги, у Дамасских ворот: «Здесь-то я тебя и ждала!»

Все, что 1 марта и в предшествовавшие дни делали Александр II и оберегавшие его люди, прямо толкало его к гибели. Ей способствовал даже арест Желябова, так обрадовавший царя и Лорис-Меликова. Если бы не этот арест, покушение наверное было бы отложено на неделю или на две. А после правительственного сообщения о выборных людях, которое царь подписал за три часа до своей смерти, террористы, вероятно, отказались бы на время от покушений.

Утром в свой последний день царь встал в девятом часу. Он долго гулял с Юрьевскими по бесконечным залам Зимнего дворца. В одной из зал были для детей устроены горки. Царь катался со своим любимцем Гого, необычайно на него похожим. После обедни он завтракал со свитой и всех удивил на редкость радостным настроением духа. До завтрака Александр II послал скорохода справиться о здоровье Лорис-Меликова. Велено было повторить, что если граф нездоров, то государь император приедет к нему. Через четверть часа министр явился в Зимний дворец.

Александр II прочел, одобрил и подписал документ, оповещавший о государственной реформе. Из этого позднее делали вывод, будто он предчувствовал свою смерть и, зная взгляды наследника престола, торопился с указом. Царь действительно торопился: велел послать за Валуевым и непременно хотел кончить дело к среде. Но едва ли у него были мрачные предчувствия. Во всяком случае, он ни с кем ими не делился. Напротив, он становился все веселее. Лорис-Меликов, кашляя, сообщил, что на Малой Садовой осмотрена одна подозрительная лавка и в ней ничего не найдено.

— Была ложная тревога, ваше величество, слух о каком-то подкопе. Никакого подкопа не обнаружено. Тем не менее я все о своем, государь: лошадка упряма, везет прямо,— сказал министр. Он был счастлив: бумага с подписью была, наконец, им получена.— Приемлю смелость снова просить ваше величество нынче не ездить на развод. Ибо...

— Ладно, ладно, должно быть, не поеду,— сказал царь с легким раздражением: он торопился к княгине, и ему надоел этот больной кашлявший старик.— Поезжай домой, Михаил Тариэлович, и ложись в постель. Ты совсем нездоров.

Как только министр внутренних дел удалился, доложили о приезде великой княгини Александры Иосифовны. Царь, хоть с досадой, согласился ее принять. Он был в холодных отношениях со своим братом Константином и потому всегда старался быть особенно любезным с его женой.

Узнав, что государь не едет на развод, великая княгиня вздохнула. В этот день в параде в первый раз принимал участие ее юный сын Дмитрий.

— Pauvre Mitia sera désolé... [5]

Император тотчас оживился. Ему очень хотелось поехать на развод, и он был рад новому обстоятельству.

— Если так, то я поеду,— сказал он.— Я слова не давал и не хочу огорчать твоего мальчика. Мне и самому еще совсем недавно было двадцать лет.

Великая княгиня так его благодарила, что уже было бы и невозможно взять назад обещание. Немецкий акцент невестки забавлял царя. Отделавшись от нее, он почти взбежал к жене по винтовой лестнице, которая иногда его утомляла; теперь не утомила нисколько.

Княгиня Юрьевская, не бывшая утром у обедни, сидела перед трюмо, повязанная оренбургским платком.

— Je viens de signer le papier en question! [6] — радостно сказал он. Юрьевская перекрестилась.

— Ну, слава Богу!

— Ce document fera une bonne impression. Il sera pour la Russie une nouvelle preuve que je lui accorde tout ce qui est possible [7].

Княгиня очень смутно знала, что такое конституция, и ей не пришло бы и в голову читать длинный скучный проект министра внутренних дел. Но Лорис-Меликов говорил с ней гораздо откровеннее, чем с царем, так как ее гнева не опасался. Ей он без намеков объяснил, что, в случае принятия проекта, ее коронование станет вполне возможным. Впрочем, это соображение не было у княгини Юрьевской главным. Она страстно любила царя, знала, как его волнует вопрос о выборных людях, и больше всего хотела, чтобы он успокоился.

— Слава Богу, Саша! Я так рада. Увидишь, теперь все будет отлично!.. Ты уже сказал Мари?

— Тебе все говорю первой.

Она накануне ездила к Лорис-Меликову и совещалась с ним о мерах охраны императора. Ей теперь было страшно, когда он покидал дворец.

— Ну хорошо, обещал, так поезжай. Но об одном тебя прошу. Ты знаешь, как я всегда волнуюсь... Скажи совершенно точно, когда ты вернешься, и не опаздывай.

Он, смеясь, сделал расчет.

— Развод кончится в три четверти второго. Оттуда я должен заехать к Кате: она обиделась бы, если б я не приехал. Считай полчаса у нее. Из Михайловского дворца прямо приеду домой. Буду, значит, в два тридцать. Зато после этого весь день проведем вдвоем, до обеда у Владимира.

— И еще одно. Умоляю тебя, Саша, не езди по Невскому и по Малой Садовой! Слава Богу, что насчет лавки была ерунда, но я боюсь... Вели Фролу ехать по Екатерининскому каналу. Это тихая улица, там людей очень мало, там ничего быть не может.

— Значит, оба конца по Екатерининскому каналу? — спросил он и обещал исполнить ее просьбу. Поцеловал ее еще раз, прошел к детям, повторил Гого свое обещание подарить ему медальон и весело простился с семьей.

Внизу караул, в ответ на его приветствие, дико прокричал: «Здравия желаем, ваше императорское величество...» Полицеймейстер Дворжицкий, разговаривавший об анархистах с министром двора, вытянулся до пределов возможного.

— Здравствуй, Дворжицкий, как живешь? Едем, погода прекрасная! Солнце и холод, люблю,— сказал царь. Он без улыбки кивнул головой графу Адлербергу: министр двора был у него в некоторой немилости с той поры, как, после долгих колебаний, явился свидетелем на его свадьбу с Юрьевской во фраке: этикет не предусматривал тайных браков царей.

Для большей безопасности у царского подъезда была пристроена длинная закрытая галерея, в которой ждали экипаж и конвой. Таким образом, злоумышленники не могли точно предугадать момент выезда царя. Лейб-кучер Фрол Сергеев умел с места переводить лошадей на рысь. Карета быстро выехала из галереи. Ее окружали казаки Терского полка.

— В Михайловский манеж, по Екатерининскому каналу,— приказал царь.

Продолжение следует.

[1] Нечего строить иллюзий (франц.).

[2] Что за невезение! (франц.).

[3] Ну конечно, почему нет? (франц.).

[4] Я так счастлив сегодня, что это меня даже пугает (франц.).

[5] Бедный Митя расстроится (франц.).

[6] Я только что подписал эту самую бумагу! (франц.).

[7] Этот документ произведет хорошее впечатление. Для России это будет новое доказательство, что я ей дарую все, что возможно (франц.).

КАБАРЕ

Александр МИНКИН
Фото Вадима ШУЛЬЦА



В империи кризис. Бесславно закончилась война. На улицах митинги, демонстрации. В магазинах негусто. Национальные окраины восстают, льется кровь, ожидают погромов. Революционная волна идет на спад, уступая место силам реакции. Общество дробится на партии: демократы, радикалы, коммунисты, анархисты... И все страшно серьезны.

В такой обстановке — восполняя нехватку иронии и веселья — возникло в Москве кабаре «Летучая мышь». Это случилось в 1908 году.

И вот теперь, в атмосфере, неуловимо напоминающей ту, после 70 лет небытия кабаре возродилось.

Опять «Летучая мышь». Опять в Москве. Опять тот же подвал. И самое удивительное — тот же адрес: Большой Гнездниковский, 10.

Все в стране (и сама страна!) — переименовано. Рядом улица Горького, улица Готвальда, Станкевича, Огарева, Советская площадь... а этот переулок сохранил имя. А дом сохранил номер. А в подвале за все эти годы не было ни овощной базы, ни котельной. Здесь всегда был театр.

После «Летучей мыши» — «Кривой Джимми», потом «Сатира», за ней «Ромэн». А во время Великой Отечественной здесь формировали фронтовые концертные бригады на базе ГИТИСа. И подвал стал Учебным театром ГИТИСа имени Луначарского. А поскольку у ГИТИСа никогда не было денег на генеральную реконструкцию — подвал каким был, таким и остался: сводчатые потолки, игрушечные ложи, исключающие даже мысль о правительственном визите, крохотный бельэтаж — уют. Круг замкнулся — с прошлого года здесь опять кабаре. ГИТИС любезно дает им иногда свое помещение.

В сознании советского человека при слове «кабаре» возникает образ сомнительного, низкопробного «портового заведения». На первом этаже танцуют полуголые девушки, а совсем голые ждут матросов наверху, в номерах.

Огорчу вас — это не так. Там, где голые танцуют,— это стриптиз, где танцуют полуголые, а голые ждут — это бордель. А про кабаре словарь сообщает: «...— в буржуазных странах — кафе или ресторан с эстрадной программой».

О том, что такое кабаре в социалистических странах, словарь молчит. Делает вид, что нету. Но я вам скажу: кабаре в социалистической стране — это эстрадная программа без кафе или ресторана.

Если подумать — так и должно быть. Буржуазное кабаре — частное. Хозяин может вытворять все, что вздумает. Социализм все подчистую национализирует и строго-справедливо распределяет (по идее).

Национализировав кабаре, социализм, естественно, распределяет: эстраду — Министерству культуры, а ресторан — общепиту. В каждом ведомстве — свои ревизоры, им вовсе незачем сталкиваться в одном подвале. Ведь может случиться накладка, и администратор театра даст ревизору из общепита, а директор ресторана сунет контролеру из Минкульта — вот ужасто! Поэтому эстраду отрезали от питания.

Ресторанные оркестры — не в счет. У нашего ресторанного оркестра задача особая... Открыть тайну? Лет 30 назад в ФРГ ученые открыли, что громкий звук подавляет чувствительность к боли и вкусовую чувствительность языка. На Западе зубоврачебные кресла оснастили наушниками. Советские рестораны срочно обзавелись мощными динамиками. Чем хуже еда — тем громче грохочет ресторанный оркестр. Вы думаете, он мешает вам говорить? Нет, он помогает вам не ощущать жуткого вкуса и тем улучшает настроение.

Было иначе. В 1913-м знаменитый архитектор и домовладелец Нирнзее закончил постройку Первого Русского Небоскреба. В подвал немедленно перелетела «Летучая мышь». А над ней...

«Небоскреб» был построен специально для богемы. Там поселились актеры, поэты, музыканты, художники. Нирнзее не запроектировал кухонь! Роскошные апартаменты, комфортные ванны... а кухонь нет. Богема не должна готовить еду, стоять у плиты. От прически кабаретной звезды не должно разить жареным луком.

Зато на крыше были ресторан, летний кинотеатр, зимний сад. Под крышей, в мансарде — мастерская Фалька, а в подвале — «Летучая мышь», и девочки из кабаре позировали Фальку.

Поздно вечером начинался спектакль. 10 рублей за билет. 100 — за столик с шампанским. Ужин на столики «Летучей мыши» подвозили из роскошного ресторана Щукина, что располагался в саду «Эрмитаж». В числе завсегдатаев кабаре — Шаляпин, Рахманинов, Северянин, захаживал Луначарский, «буревестник революции» Максим Горький здесь познакомился с дипломатом-журналистом - заговорщикомшпионом по имени Роберт Гамильтон Брюс Локкарт; м-да.

М-да, неплохой и интересный был дом. В квартиру нажатием кнопки вызывался обед или завтрак...

Кнопки кое-где уцелели. Встроили кухни, потеснив туалеты и ванные. По дому пошли жуткие запахи. Но живет здесь уже не богема. Теперь это — дом старых большевиков.

В 1920-м создатель «Летучей мыши» Никита Балиев решил, что пора ехать. На гастроли. Никогда прежде «Летучая мышь» никуда не ездила. Балиев торчал в Москве и мечтал играть на сцене Художественного театра. Никита был маленький, толстый, с южнорусским говором. В МХТ он сыграл всего одну роль — Хлеб в «Синей птице». Актера не вышло, пришлось стать знаменитым режиссером и хозяином кабаре.

К 1920 году Балиев уже кое-что понял. «Летучая мышь» отправилась на гастроли. На юг. Добрались до Баку, дали несколько представлений... Вдруг, в одно прекрасное утро, часть труппы обнаружила, что она — всего лишь часть. А остальных и Балиева нету. И где они — неизвестно.

Оставшиеся обиделись, прокляли сбежавших и основали первый бакинский театр «Сатирагит».

Бежавшие исчезли из нашей истории. Им не пришлось ни писать доносов, ни стать жертвами таковых. Ни предавать, ни быть преданными. Но имена их исчезли из памяти соотечественников.

Не все бежавшие были далекими от политики актерами. Во время недавнего ремонта в стене подвала нашли тщательно смазанное ружье системы «манлихер» и пачку газетных вырезок о здоровье Владимира Ильича.

Тогда много стреляли.

Потом была долгая тишина. Ни стрельбы на улицах, ни кабаре в подвалах.

А теперь — вот оно! Вас ждет возрожденная «Летучая мышь»! Вас ждет замечательно смешной спектакль «Чтение новой пьесы»! Вас ждет замечательный оркестр — все в смокингах, «как тогда»! Правда, кресла теперь другие и обтянуты в государственный красный цвет, но это пустяки.

Вас ждет художественный руководитель театра Григорий Гурвич, который расскажет все эти истории и объяснит, почему кабаре всегда располагались в подвалах:

— Потому что подвал старого хорошего русского дома — это место, где не слышно уличной стрельбы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Опера Н. А. Римского-Корсакова. 8. Горная система на юго-западе Европы. 9. Ансамбль из певцов и музыкантов-исполнителей. 10. Государство в юго-западной части Тихого океана на архипелаге. 13. Народный писатель Узбекистана. 15. Высокогорный цветок. 16. Пушной зверь. 18. Флейта, распространенная в Молдавии и балканских странах. 19. Русский математик, первая женщина член-корреспондент Петербургской Академии наук. 22. Приток реки Шилки. 24. Серия советских орбитальных станций. 25. График и живописец, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии. 26. Естественный водоем. 28. Хвойное дерево. 31. Персонаж романа Л. Н. Толстого «Воскресение». 32. Оперетта И. Кальмана. 33. Народная артистка СССР, выступавшая в Малом театре.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ансамбль из восьми музыкантов. 2. Стихотворение А. С. Пушкина. 3. Драматическое произведение. 4. Побудительная причина. 5. Героиня повести А. И. Герцена «Сорока-воровка». 6. Разновидность фортепьяно. 7. Высочайший массив Большого Кавказа. 10. Советская спортсменка, чемпионка мира по художественной гимнастике. 11. Певица, народная артистка СССР, выступавшая в Большом театре. 12. Столица государства в Северной Европе. 14. Картина Н. А. Ярошенко. 17. Город в Центральной Италии. 18. Керамическое изделие. 20. Перуанский писатель. 21. Лесная птица семейства тетеревиных. 23. Завершение фасада здания, портика, колоннады. 27. Блюдо из яиц. 28. Косметическое средство. 29. Река, соединяющая Онежское и Ладожское озера. 30. Детский или женский головной убор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Лепешинская. 7. «Галька». 8. Лосьон. 10. Артек. 11. Серебро. 12. Полонез. 14. Франк. 16. Гидра. 17. «Золушка». 18. Знамя. 21. «Тоска». 23. «Айвенго». 24. Эсенова. 25. Взвод. 27. Ирасек. 28. Кубрик. 29. Лаборатория.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельдерей. 2. Регата. 3. Виолетта. 4. Оселок. 5. Максакова. 7. Гаприндашвили. 9. Нижневартовск. 11. Снегина. 13. Зарянка. 14. Фронт. 15. «Кукла». 19. Богинская. 20. Экслибрис. 22. Савицкая. 25. Вектор. 26. Диксон.


ЦИКЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ «СЕМЬЯ-2000»
СЕМЬЯ 2000 FAMILY
«Европа — наш общий дом» — это девиз политиков, созвучный чувствам всех европейцев. Сделать его реальностью помогут не только усилия дипломатов, но и цикл международных конкурсов «Семья-2000».
Те, кто сегодня начинает семейную жизнь, в 2000 году будут определять деловое и политическое лицо Европы.
Мы уверены, что этим людям предстоит жить в общеевропейском доме единой дружной семьей народов. Поэтому цикл международных конкурсов, который организуют МГКО «Формула-7» (СССР), Главная редакция программ для молодежи Центрального телевидения СССР, Международная ассоциация «Космонавтика — человечеству», ПКТИ «Нефтегазспецмонтажпроект» и крымское объединение «Интурист», называется «Семья-2000».
«Семья-2000» — это новая творческая и этическая концепция конкурсов красоты — красоты взаимоотношений.
«Семья-2000» — это лучшее время телевизионного эфира с использованием каналов «Интервидения» и «Евровидения».
«Семья-2000» — это крупнейшее рекламно-коммерческое предприятие, которое обещает не только блестящие возможности для рекламы, но и установление новых международных деловых контактов.
«Семья-2000» — это отличный шанс для делового человека в сфере шоу-бизнеса.
Цикл состоит из 4 конкурсов и рассчитан на 4 года, причем каждый конкурс имеет региональный, национальный и международный этапы.
Международный конкурс «Жених и Невеста», 1-й конкурс цикла, пройдет на пассажирском судне, совершающем круиз по Черному и Средиземному морям с заходом в крупнейшие порты, летом 1990 года.
Финал состоится в Ялте (Крым, СССР), где в присутствии мэров городов проживания пар-победительниц состоятся их свадьбы.
По всем вопросам коммерческой деятельности на Международном конкурсе «Жених и Невеста» необходимо обращаться в Генеральную дирекцию.
Официальные языки Международного конкурса — русский и английский.
Благодарим за проявленный интерес.
Наш адрес: 119034, Москва, ул. Кропоткинская, д. 33/19, строение 2, пом. 52.
Наши телефоны: 203-77-68,
для рекламы: 289-03-46.
Телекс: 411700 pte SU «Formula-7»
Телефакс: 2002217 «Formula-7»
40 коп.
Индекс 70663